

**Тамара Ветрова**

**Гофман**

*Повесть*

*Как только Гофман поставил точку в повести «Золотой горшок», выбора больше не было. Ничего не подозревающий писатель думать не думал, что блеску сочиненного им Золотого горшка предстоит, подобно смертоносному лучу, опалить чужую душу и ранить ее навек; а ему, в ту пору уже известному писателю, выпадет стать объектом странной охоты — тайной, слепой и яростной.*

*Тут надо заметить, что в продолжительной истории человеческих заблуждений случаи преследования фантомов не так уж редки. Достаточно вспомнить Святой Грааль; либо таинственную Шамбалу; или же сгинувшую в темных водах Атлантиду.*

*Но охота за выдумкой Гофмана (так можно определить, по крайней мере, внешнюю суть истории) все же занимает в этом ряду особенное место. Во-первых, Гофман жил рядом с собственным преследователем; а близость не способствует статусу мифа. Существует и второй пункт: сам Гофман, как нам кажется, вовсе не стремился мистифицировать своих читателей. Его задача скорее сводилась к задаче рассказчика (не случайно Бальзак удостоил его восторженного отклика, именно назвав Берлинским рассказчиком).*

*И последнее.*

*Джиннистан (иногда Гофман называет эту несуществующую страну Атлантидой) — самый смутный из всех образов немецкого сочинителя. Склонный к точности, детальным описаниям и подробностям Гофман — в данном случае — ограничился лишь несколькими довольно размытыми намеками, темными указаниями да тающим контуром. Волшебная страна Гофмана написана, если так можно выразиться, не пером, которое обмакивают в чернильницу, а вихрями света да дуновением таинственных потоков. Так что придется помнить: радужные вихри — восхитительны, только в них неудобно жить.*

*Что думал об этом факте сам писатель, неизвестно. Во всяком случае, никаких четких свидетельств не сохранилось. Ну а Джиннистан (или Атлантида) остался невыразимо прекрасен; притягателен ровно настолько, насколько может быть возделенным несуществующий край. Вымышленное отечество. Родина воздушных замков...*

*Впрочем (и это точно последнее замечание), в нашем случае архитектура воздушных замков показала себя наилучшим образом. События, о которых будет рассказано ниже, свидетельствуют, что в иных случаях воздушные замки крепче каменных.*

### **ВИГИЛИЯ ПЕРВАЯ,**

***повествующая о том, как в голову тайного советника суда  
вошла необычная мысль***

1 июля 1815 года в квартиру на Таубен-штрассе, 32, что на Жандармском рынке, въехал маленький хрупкий и отличающийся чрезвычайной подвижностью человек, вскоре получивший имя Берлинского рассказчика.

**Тамара Ветрова** — филолог, преподаватель истории искусств, автор ряда работ по проблемам детского творчества, автор детективной и иронической прозы. Публикации в журналах «Урал», «Человек и закон», «Магазин» и др. Живет и работает в г. Лесном.

Впоследствии новый владелец квартиры подробно описал помпезную площадь между Немецким и Французским соборами и театром Лангханса посередине. Если верить чудесному описанию, выходило, что знаменитая площадь отличается не только красотой и совершенством архитектурных решений; она, уверял рассказчик, полна диковинных и причудливых созданий. В свете яркого летнего дня тут и там мелькают забавные физиономии. Иные, поколебавшись, добавлял автор письма, прямо посажены на могучие паучьи лапы; а у других нос так длинен, что создает трудности в движении праздных гуляк, котормыи, как всем хорошо известно, славится Жандармский рынок.

Автором замечательного письма был Гофман, а адресатом — его первый издатель Кунц. Будучи прилежным читателем всевозможных рукописей (к тому же — отлично зная Гофмана), Кунц не удивился необычному описанию. Он лишь отметил, что во всяком новом письме являются новые персонажи — иные уж настолько замечательные, что Кунц против воли принимался прищелкивать пальцами — в знак некоторого недоумения.

— Скоро в Берлине не останется свободного места, — ворчал издатель. — Ступить станет негде; того и гляди, из-под башмака вынырнет причудливая тварь.

Берлин понравился Гофману. Понравилась горделивая осанка этого города, еще недавно имевшего жалкий и угнетенный вид. Теперь было ясно, что этот город — столица, и столица крупного государства. На него словно легла печать гордости, самодовольства, тщеславной погони за роскошью. Зорко и пристально Гофман оглядывал новый городской ландшафт, но время от времени на его узкое подвижное лицо ложилась тень. Он останавливался среди бегущей толпы и выглядел бы презабавно, если бы не выражение угрюмой сосредоточенности — верный признак демона скуки, который как будто вдруг крепко сжимал горло бледного сочинителя. Впрочем, незванный призрак исчезал столь же быстро, как и появлялся...

Прогулки по Берлину радовали Гофмана. Довольно скоро он ощутил этот город своим — не потому ли, что умел узнавать в праздной толпе героев будущих своих сочинений либо просто персонажей, случайно вывалившихся из чьего-то необыкновенного сна?

К 1815 году Гофман был и вполне ощущал себя известным человеком.

К этому времени на его счету были ныне малоизвестные сочинения «Корнано, мемуары графа Юлиуса фон С.» и «Таинственный»; сочинение текста и музыки зингшпиля «Маска»; эссе «Письмо монаха своему столичному другу»; работа капельмейстером в Бамберге (и крайняя нужда, сопровождавшая его с начала 1808 года); работа в Бамбергском театре; и многое, многое другое, свидетельствующее о невероятной работоспособности, неутомимом поиске собственного своего голоса в музыке, в живописи, в словесном искусстве; о мужественной борьбе с жизненными невзгодами. Но куда более важным можно считать окончание (в 1814 году) работы над сказкой «Золотой горшок». Засияв волшебным пламенем над жизнью Гофмана, над страницами его новелл и партитур, «Золотой горшок» больше не гас и не бледнел. Преследования, клевета, отчаяние, набирающая силу болезнь не стерли и не приглушили этот волшебный свет.

Вспышка писательского зрения Гофмана оказалась настолько сильна, что — по прошествии лет — продолжала томить писателя. Это было не что иное, как знакомое почти всем пишущим людям острое чувство страха: что, если сие творение — высшее по силе и мощности — последнее, и писателю уже никогда более не преодолеть этот рубеж?

В письме другу Теодору Готлибу Фон Гиппелю Гофман прямо толкует *скрытое поэтическое тщеславие* как несусветную чушь, прибавляя при этом, что такого, как «Золотой горшок», ему уже не написать.

Быть может, в свете этого признания становится ясно, почему теплым весенним вечером, полным ароматов зеленеющих лип, в здании апелляции-

онного суда задержался, склонившись над толстым книжным томом, тайный советник суда г-н Фридрих Вильгельм Губиц.

Помимо известного имени, тайный советник носил еще одно: Великий Могол от юстиции и — совсем уже в редких случаях — именовался Великим Моголом от инквизиции либо кратко — Инквизитором.

Знал или не знал г-н Фридрих Вильгельм Губиц о прозвищах, которыми был награжден товарищами по службе, — не так уж важно. Но, безо всяких сомнений, узнай он собственное второе имя — оно бы ему понравилось. Этому не приходится удивляться: г-н Губиц был самым мелким (в рассуждении роста), самым самолюбивым, самым мстительным человечком в апелляционном суде. К этому можно прибавить, что тот, кто носил имя Инквизитора, страстно мечтал быть и самым пронизательным, самым хитроумным, самым непобедимым и самым удачливым чиновником в своем департаменте. Но нет, это не совсем точно. Ведь не называем же мы чиновником, скажем, Наполеона Бонапарта! А не надо забывать: великая тень еще не совсем покинула немецкую столицу (как и некоторые другие столицы мира); она металась тут и там по узким улочкам, дрожала в обманчивом свете фонарей, скользила над островерхими крышами зданий. Она будила мечтательных юношей среди ночи ничуть не хуже, чем имя возлюбленной...

Фридрих Вильгельм Губиц не был мечтательным юношей. Скорее он походил на злого человечка, вытесанного умелым мастером, — но мастером, начисто лишенным чуткости, обаяния и любви. Откуда иначе было взяться этому длинному злему рту, бледным немигающим рыбьим глазам, острому носу, как бы придуманному для того, чтобы тыкать им во всякую щель?

Фигура тайного советника, впрочем, была довольно складной, и он вполне мог сойти за блестящего кавалера, если бы не длинные руки, удивительно напоминающие паучьи лапы.

В апрельский вечер, о котором идет речь, тайный советник предавался чтению. Он и обычно покидал здание апелляционного суда последним, и душа его трепетала от сладостного чувства долга, от готовности и далее, и впредь оставаться верноподданнейшим тайным советником. Но в этот ласковый вечер он особенно задержался в своем обитом деревянными панелями кабинете. Тайный советник читал сочинение Гофмана «Золотой горшок».

Читая, г-н Губиц совершал странные действия. Он морщился, кривлялся, непроизвольно, точно небольшой варан, выбрасывал язык; наносил короткие, но весьма изрядные удары негнушимися пальцами то правой, то левой руки по поблекшему сукну огромного стола. Тайный советник болтал ногами, как бы пиная невидимого врага, укрывшегося под столом; время от времени, словно изнывая от отсутствия воздуха, он беззвучно отворял и затворял длинный бледный рот, так что окончательно приобретал сходство с рыбой, выброшенной ударом волны на мертвый берег. По лицу тайного советника, точно молнии, пробегали судороги. Пот сверкал на лысеющей полоске лба под откинутыми серыми волосами. Советник ежился, морщился и дергался.

А за окном кабинета, как уже говорилось, стоял теплый апрельский вечер, мягко вплывающий в ночь. На небе горел серебряный осколок луны, почти касаясь соседней крыши. В окне дрожала нефритовая ветка дерева. В воздухе, неизвестно почему, пахло мятой. Тайный советник ничего этого не замечал. Листы чудесного сочинения корчились под длинными пальцами. Золотой горшок светился в недоступном далеке.

### Романтическое отступление

Быть может, благосклонному читателю известна история человека, который, по прихоти жестокой судьбы, был принят за картофельный клубень?

В маленьком городке, расположенном в просторной долине на самом берегу журчащей вольной реки, жила бедная женщина с нравом кротким и тер-

пеливым. День и ночь она работала на небольшом огороде, так что ее белые руки сделались со временем жесткими и коричневыми. Заботясь о хлебе насущном, женщина не унывала; перекапывала свой огород да возносила хвалу Всевышнему за то, что не отбирает то малое, что она имеет.

Однажды в пятницу добрая женщина, на короткое время прервав работу, вышла за ворота и села на утлую скамью, чтобы предаться отдыху. Тут приметил она странника, который со вниманием смотрел на крестьянку и ее скромный двор. Чуден показался ей незнакомый гость: коричневый, точно картошка, выкопанная на огороде, да и с виду точь-в-точь напоминающий картошку.

Женщина приветливо улыбнулась незнакомцу и пригласила того войти в дом и угоститься скромным завтраком. Но гость молча покачал головой и вытащил из кармана преогромную картофелину, напоминающую собой господина бургомистра в час утреннего чаепития.

Сжав руки и отступив, крестьянка не решилась принять щедрый дар. А удивительная картофелина вдруг открыла рот и возвестила хриплым голосом:

— Жених!

Женщина затрепетала. Робость сковала ее члены, она лишь молча таращила на незнакомца глаза.

Тогда неизвестный поступил так. Положил чудесную картофелину на стол, погрозил пальцем да и был таков. Не зная, как толковать этакое знамение, крестьянка, вздыхая и утирая слезы, поскребла картофелину (причем та всякий раз издавала пренеприятный писк и ворочалась в руках хозяйки, норovia схватить ту за палец) — а потом бросила в кастрюлю, приправив воду солью и перцем.

Во сне бедной женщине явился жених. Он был в картофельном мундире, имел картошки вместо щек, а на груди носил орден размером с картофелину.

— Съела свое счастье, — вздыхала бедная женщина, о судьбе которой вашему покорному слуге более ничего не известно.

Тайный советник застонал. По неизвестной причине ему вдруг почудилось, что его голова внезапно начала вспухать и с каждой секундой становится все более похожа на полый шар, надутый для потехи летучим воздухом. Оттолкнув от себя сочинение про Золотой горшок, г-н Губиц свирепо потер зачесанные виски ладонями и услышал слабое потрескивание. Глупейшая мысль, что его волосы сейчас загорятся и синее пламя само собой начнет плясать на голове, не на шутку напугала тайного советника. Но в ту же самую минуту другая мысль — куда более важная — вытеснила прочь все лишнее и заставила г-на Губица вскочить и несколько раз пробежаться по кабинету.

— Теодор Этцель! — несколько раз вскричал тайный советник. — Благо-разумный и добронравный молодой человек! В нынешнее испорченное время почти совсем не осталось преданных юношей, чьи головы не забиты вредными помыслами либо лихими гулянками, а целиком устремлены к одной-единственной цели. Верность и преданность! Теодор Этцель!

Тут следует объясниться.

Засидевшийся в кабинете тайный советник вовсе не сделался жертвой чрезмерного рвения и не повредился рассудком. Его горячий лепет был не чем иным, как стремлением облечь в слова только что вскочившую в голову идею... Ах, идея и впрямь едва угнездилась в советниковой голове, как тут же и дала плоды: г-н Губиц придумал, кто может оказаться исполнителем высшей воли. И вот имя младшего помощника старшего делопроизводителя — Теодор Этцель — вскочило ему в голову, точно неожиданный щелчок.

— Он и исполнит, — твердил тайный советник. — Юноши нуждаются в руководителе, это так. Иначе их молодое рвение может вывести не на ту дорогу, и идущий собьется с пути. Роль начальника в данном случае сродни подлинно высшей роли! Это миссия водителя, освещающего путь! Роль путеводной звезды!

Мысли тайного советника свидетельствуют: он был охвачен истинным вдохновением. В такие минуты поэт ломает перья и, стелая, бросает родимый кров, дабы удалиться под сень струй; полководец, вскинув руку в величественном жесте, указывает послушной армии путь, ведущий к победе и славе; ну а тайный советник принимает важное решение: поручить невинному сослуживцу роль соглядата и шпиона.

Но тут вновь необходимо объяснение.

Великолепный Берлин, в котором оказался Гофман, приобрел к указанному периоду роль столицы — со всеми вытекающими отсюда следствиями. Хвастливое и чопорное однообразие, которое, как полагают некоторые, символизирует берлинский характер, изрядно приедается человеку с воображением. А если к этому прибавить солдат, парады, марши, маневры, то — против воли — в голове вспыхивает слово: казарма.

Современник оставил нам убедительное свидетельство того, как выглядел Берлин после освободительных войн: «...здесь сталкиваешься с наиболее общим, концентрированным воплощением прусского государства, которое потом в меньшей степени повторяется по всей Пруссии, — ведь в любом городе, в каждом большом селе, всюду, где только возможно, наталкиваешься на парней в мундирах, выстроившихся под командованием этакого императора в миниатюре, который орет: «Раз! Два! Стой! Направо! Кругом!»

Отношения Гофмана с государством носили довольно своеобразный характер. Именуя государственную службу «государственным стойлом», писатель никак не желал снимать ненавистное ярмо. И дело, судя по некоторым фактам, было не только в жалованье. Гофман вошел в бюрократическую прослойку, которая (по старому прусскому рецепту) была увеличена вместе с армией и являла к 1815 году изрядно разросшийся, набирающий силу аппарат.

Первой должностью Гофмана в Берлине была работа в апелляционном суде в качестве «сотрудника с совещательным голосом», сотрудника без жалованья. Но еще в 1814 году он пишет в письме фон Гиппелю: «Я бы тотчас с радостью пошел в подчинение к кому угодно, пусть бы это была только должность действительного статского советника со сносным жалованьем, ибо спускаться вниз по служебной лестнице в юстиции я не могу — самолюбие не позволяет. Но довольно об этих ненавистных вещах».

Нет, определенно не одна только забота о хлебе насущном толкнула Гофмана вернуться в «государственное стойло». Причин было несколько (чтобы не сказать — множество); и эти обстоятельства переплелись, как это нередко случалось с Берлинским рассказчиком, причудливо и тесно, как корни дерева мандрагоры (которому некоторые знатоки приписывают магическую силу); либо как клубок змей.

Непросто поверить (но на этом настаивают современники, в частности — Юлиус Эдуард Хитциг), что человек, «еще недавно отбивавший такт в оркестре, может с полным основанием занимать должность в уголовном суде, членом которого он стал; и перо, из-под которого вышли «Фантазии в манере Калло», может писать безупречнейшие репортажи». «Однако, — подчеркивает далее Хитциг, — даже завистники вынуждены были признать, что в его юридических работах нет и следа художественного дилетанства... его юридические работы, как все истинно добротное, отличались, скорее, простотой и строгостью».

Вправе ли мы предположить, что — бывали моменты, когда юридические штудии либо реальные расследования приносили Гофману истинное наслаждение — тем более сильное, что он не признавался в этом себе самому? Природа, которая иногда не брезгает оригинальностью, сочла возможным наделить одного человека чуткостью художника, слухом музыканта, искрометностью рассказчика, актерским дарованием и вдобавок — талантом юриста? Так или иначе, на своем судебном поприще Гофман был успешен и состоятелен. Эту

часть его карьеры никак нельзя считать довеском. Процессы, в которых участвовал — и блестяще участвовал — член уголовного суда Гофман, являются лучшим тому доказательством.

Тайный советник Губиц знал Гофмана — и хотя их личное знакомство было поверхностным и, возможно, односторонним (потому что имеются основания предполагать, что Гофман *не заметил* Губица) — это никак не смягчало чувств, которые испытывал тайный советник по отношению к своему скромному коллеге.

Коротко эти чувства можно выразить так: Губиц ненавидел Гофмана. Эта ненависть была тем загадочнее, что базировалась не на каком-то конкретном фундаменте, а складывалась преимущественно из раздражительных ощущений, темного негодования и неукротимого желания побросать книжки Гофмана в огонь. Даже случайный наблюдатель согласится: это были довольно смутные мотивы. Ни в Берлине, ни в каком ином городе на земле таких мотивов в начале просвещенного 19 века было недостаточно, чтобы разделаться с добронравным человеком — будь он юристом или сочинителем глупейших завиральных историй. Муки тайного советника были тем сильнее, что он великолепно понимал защищенность Гофмана (защищенность тем же самым законом, которому служил и тайный советник Губиц).

Однако в апрельский вечер, проведенный за чтением книжки Гофмана (это был, если помните, блистательный «Золотой горшок»), — кое-что произошло. Одна примечательная мысль или идея вскочила в голову г-на Губица и диковинным образом повлияла на его дальнейшие поступки.

Мы уже описывали муки и терзания, которые испытывал тайный советник во время штудии сочинения Гофмана. Он корчился и кривлялся потому, что — в свете дивного вечера, который проникал даже в запертый кабинет и дарил ароматы пробуждающейся весны несчастному тайному советнику, — г-н Губиц ясно чувствовал, что каждая строчка, каждый выдуманный Гофманом фантом, каждая реплика точно отражают его, Губица, собственное лицо, — но отражают так, как это делается в комнате искаженных зеркал на потеху воскресной публике! Строчки Гофмана издевались над тайным советником; они корчились, то распространяясь до невероятной длины, то вдруг укорачиваясь. Из книжки — тайный советник мог бы поклясться в этом! — то и дело выглядывали отвратительные физиономии; они смотрели на тайного советника с явной и нескрываемой насмешкой, а иные даже ухитрились показывать ему язык!

Конечно, читатель вправе задаться вопросом: что в таком случае заставляло г-на Губица впиваться в строчки воспаленными глазами? И почему бы ему просто-напросто не захлопнуть дерзкое сочинение, а вслед за тем — не покинуть кабинет, враз сделавшийся ловушкой для здравомыслящего тайного советника? То-то и оно, что уйти Губиц никак не мог. Нет, не был тайный советник жертвой долга (хотя сам как раз таким образом расценивал свои ночные бдения). Дело было не в долге, увы.

Более всего на свете Фридрих Вильгельм Губиц ненавидел людей, которые позволяли явную или скрытую насмешку в его адрес. Горькое чувство крохотного уродливого человечка с рыбьими глазами, тонкими губами и непомерно длинными паучьими руками заставляло совершать г-на Губица те самые движения, которые мы описали выше. Со стороны могло показаться, что тайный советник душит и топчет невидимого врага! Но то-то и оно, что до последней минуты этот враг был всего лишь воображаемым; а стало быть, его нельзя было привлечь к ответственности и посадить за решетку. Однако мысль, диковинным образом влетевшая в голову тайного советника, нащептала ему более приемлемый и реалистический путь.

**ВИГИЛИЯ ВТОРАЯ,**  
*начинающаяся прямо с романтического отступления  
 и далее повествующая о том, какие первые ростки дала идея  
 г-на Губица и как был удивлен его помощник Теодор Этцель*

**Романтическое отступление**

Быть может, терпеливому читателю известно, отчего на заре нашей юности жизнь балует нас благосклонными ласкающими взорами, а под конец приберегает леденящий, убийственный взгляд василиска?

Примечательная история случилась с одним немолодым, но достойным коммерции советником, прогуливающимся в ясный летний день по Унтерден-Линден близ Оперы. Шествуя неторопливой походкой мимо Замка, коммерции советник миновал Шлюзный мост, что против Монетного двора, и остановился зачем-то пред сияющей витриной новомодного магазина, которых теперь в Берлине было великое множество. Зеркальная поверхность витрины была устроена таким образом, что у наблюдателя не было никакой возможности заглянуть в ее недра, ибо его собственная физиономия смотрела на зрителя, повинувшись закону зеркал.

Пожевав губами и удивляясь столь глупой выдумке, не позволяющей покупателю оценить предлагаемый товар, коммерции советник совсем было вознамерился продолжить свой путь, как вдруг из зеркальной витрины на него глянула столь немислимая рожа, что коммерции советник на мгновение замурился и отшатнулся. По прошествии минуты он все же решился приоткрыть один глаз; но рожа никуда не подевалась. Более того: она также приоткрыла один глаз — но не правый, как коммерции советник, а левый!

Увидя этакие фокусы, несчастный схватился за сердце. Проклятая рожа, у которой тут же отросли руки, также схватилась за сердце (но, как, наверное, догадался пронизательный читатель, схватилась левой рукой за правую часть груди).

— Кривое зеркало! — шепнул коммерции советник. И тут принужден был принять достойный вид, так как мимо проществовала дама в премилом летнем наряде, который довершала крохотная шляпка с великолепным страусиным пером. Дама, следуя правилу всех дам, бросила как бы мимолетный взгляд в витрину и, естественно, отразилась в ней — вместе со своим воздушным нарядом, шляпкой, страусиным пером и премиленьким личиком.

Коммерции советник застонал. Дама в витрине была точь-в-точь такова, как на улице. Кривое зеркало не отразило никакого чудовища. Значит — о боже! — значит, чудовище в витрине подстерегало только коммерции советника? Или — что еще ужаснее! — этим чудовищем был он сам?!

Вернувшись домой, коммерции советник предался жестокому отчаянию.

Тягостно зрелище отчаявшегося мужа; а зрелище отчаявшегося коммерции советника тягостно вдвойне...

Восклицания, жалобы, сетования, упреки, даже смутные, неопределенные угрозы лились из уст несчастного. Отвратительная рожа, казалось ему, подстерегала беднягу в каждом зеркале, в каждом начищенном кофейнике, в каждой луже!

Бросив косвенный взгляд на ту или иную зеркальную поверхность, коммерции советник вздрагивал и едва не плакал. Рожа, страшнее прежней, выделяла столь гадкие гримасы, что при одном взгляде на нее благовоспитанный человек мог приобрести внутреннюю колику.

«Так, это так! — терзался несчастный жертва зеркал. — Но каков я на самом деле? Не врут ли проклятые зеркала? Надобно проверить».

Но то-то и есть, что проверки коммерции советник опасался пуще всего. А ну как выйдет, что он и есть та самая глумящаяся зеркальная рожа?! Бедняга ощупывал себя руками, пытался вообразить, каков он со стороны... Но благо-

родные усилия были напрасны, пока в один прекрасный день судьба самым решительным образом не вмешалась в мучения страдальца.

Ранним летним утром, когда праздные горожане еще не покидают мягких постелей, коммерции советник совершал осторожный променад. Гонимый таинственным роком, он теперь предпочитал одинокие прогулки. И вот, объятый тревогой и меланхолией, прохаживался по пустынной в этот час улице. Надо ли говорить, что судьба, которая иногда любит жестоко пошутить, привела коммерции советника к той самой зеркальной витрине, которая однажды предьявила его изумленному взору поганую физиономию?

«Что ж, — подбадривал себя советник, — сейчас ничто не помешает мне разъяснить проклятую рожу!» «Я, — бодрился трепещущий советник, — разоблачу козни врагов своих и выйду победителем из схватки с судьбой!».

Сии победные реляции свидетельствуют, что испытания, выпавшие на долю несчастного коммерции советника, изрядно закалили его душу — до того сытую и ленивую.

Итак, собравшись с духом, коммерции советник стал прямо перед ненавистой зеркальной витриной, выпятил грудь, раздул щеки и приготовился встретить удар судьбы. В ту же злополучную минуту из зеркала глянула рожа страшнее прежней и, вдруг отворив уста, молвила с выражением ужаса и отвращения, но голосом плаксивым и жалобным:

— Что за чудовище преследует меня? Подстерегает в каждом зеркале, во всякой луже? Неужто настали такие времена, что порядочный человек не может и шагу ступить, не наткнувшись на этакую образину?!

С сими словами неизвестная рожа прямо указала кривым перстом на онемевшего коммерции советника.

— Я — образина?! — только и мог вымолвить невинный соглядатай.

— Ты! — закричала физиономия в зеркале. И ей тут же ответили все зеркала и их подручные: блестящие поверхности чайников, кофейников, кастрюль; днища серебряных блюд, заботливо начищенные служанками вечером в пятницу; даже гладь тихого озера — прибежище печального поэта. Все они разом и с дьявольским ревом завопили:

— Ты, ты, ты!!!

Объятый страхом и ужасом, коммерции советник бросился прочь от витрины, вон из города.

И если, благосклонный читатель, тебе случится увидеть немолодых лет коммерции советника, заросшего недельной щетиной, в нечищеном платье и с отчаянием во взоре, — знай: это тот самый коммерции советник, что однажды имел неосторожность разглядеть свое подлинное отражение.

На следующий после ночных бдений день в кабинет тайного советника Губица был приглашен молодой человек, который совсем недавно начал службу в апелляционном суде. Грамотный и усердный юноша звался Теодор Этцель и имел в глазах г-на Губица то неоспоримое преимущество, что смотрел ему, Губицу, прямо в рот и ловил всякое слово, слетевшее с уст тайного советника.

Имя сочинителя Гофмана, о котором намеревался говорить тайный советник с юным помощником, не было известно Теодору Этцелю. В недавнем прошлом житель провинции, Теодор Этцель был воспитан на более здоровой пище: качественное молоко тучных коров, спелые овощи с родительского огорода да родительские же наставления, которым в провинции отводится роль, успешно заменяющая молодому недорослю легкомысленные сочинения писателей и поэтов.

Впрочем, благодаря заботам деревенского пастора, молодой человек получил некоторое образование и не был так дик и неотесан, как можно было бы ждать от молодца, явившегося прямиком со скотного двора.

Этому же доброму пастору Теодор Этцель был обязан рекомендательным письмом, посланным в Берлин через третьи руки к дальнему родственнику пастора, занимавшему не последнюю должность в Городской управе.



Так молодой человек по имени Теодор Этцель оказался в Берлине, в апелляционном суде, где благополучно получил должность младшего помощника старшего делопроизводителя.

Что еще можно добавить о молодом Этцеле? Разве только то, что он был высок, недурен собой; на свежем лице лежал румянец, а в темно-серых глазах читалось то выражение, по которому проницательные люди угадывают прямодушных и искренних собеседников.

Первое время работы в суде для юного Этцеля было не простым. Нельзя сказать, чтобы новые обязанности так уж тяготили молодого человека; нет, в родительском доме он усвоил, что всякая обязанность, которую определил пред тобой стоящий выше тебя по возрасту и положению человек, есть священная обязанность и долг и обсуждению не подлежит. Надо просто без ропота и жалоб и по возможности тщательно эту обязанность исполнять.

Тяготило юношу скорее другое: сама *атмосфера* апелляционного суда: угрюмое и сосредоточенное выражение лиц, неслышные шаги по темным коридорам, запах чернил и невероятное число исписанных мелким почерком бумажных листов — вся эта обстановка так разительно отличалась от просторного, покрытого молодой зеленью двора, от невысоких холмов, пройдя через которые, можно было выйти прямо к вольной реке; от разросшихся вековых вязов, составляющих старинную аллею, и от прочего, что окружало его в прежней жизни, — что молодой человек в первые дни жизни в столице почувствовал себя самым несчастным и покинутым существом на всем белом свете.

Впрочем, не желая предаваться отчаянию, молодой Теодор Этцель с удвоенной силой налег на работу. И очень скоро исполнительность и усердие молодого человека не остались незамеченными (а главное — не осталось незамеченным внушенное родителями благодетельное чувство уважения к тому, кто поставлен судьбой либо начальником выше тебя).

Короче говоря, выбор тайного советника Губица был вполне понятен. Ему требовался надежный, нерассуждающий помощник — и он нашел такого в лице молодого, еще вчера прибывшего из деревни Теодора Этцеля.

Явившийся в кабинет тайного советника помощник делопроизводителя Этцель первый раз увидел высокого начальника так близко — на расстоянии вытянутой руки.

Впившись глазами в крохотную фигурку великого человека, который едва выглядывал из-за громадного стола, Теодор Этцель в первую секунду испытал некоторое смущение и даже трепет. Но тут же взял себя в руки и выявил готовность внимать речам начальника, а также — если потребуется — немедленно исполнять его распоряжения.

Рядом с крохотным тайным советником фигура Этцеля казалась великанской. Это был подлинно Гулливер, возвышающийся над гражданами Лилипутии. Человек с бойким воображением вполне мог представить себе г-на тайного советника Губица под башмаком юного Теодора Этцеля!

Этот очевидный диссонанс не остался незамеченным тайным советником. Так же как и молодой Этцель (но по *противоположной* причине), он в первые минуты пережил неприятное чувство. Тайного советника что-то кольнуло; он почувствовал явное раздражение против Этцеля, который позволил себе вымахать в такого гиганта; как бы в насмешку, право! как бы демонстрируя явное неуважение к тайному советнику!

Но, бросив косвенный взгляд на румяное лицо младшего помощника старшего делопроизводителя, г-н Губиц мало-помалу успокоился. Искренний взор молодого человека, его неподдельное терпеливое внимание, вежливо наклоненная голова и еще некоторые приметы безусловно свидетельствовали, что ни о какой насмешке — вольной или невольной — не может идти речь. Сделав такое заключение, тайный советник встал из-за стола и позволил себе сделать два шага навстречу подчиненному; после чего разомкнул уста и молвил лишенным приятности и несколько скрипучим голосом:

— Прошу садиться, господин младший помощник старшего делопроизводителя.

Теодор Этцель, затрепетав от собственного полного титула (не говоря уже об обращении высокого лица), смутился, но только еще ниже наклонил голову, не предпринимая попытки сесть.

Скромность посетителя порадовала хозяина кабинета. Он издал слабый смешок (Этцелю показалось, что скрипнула дверь) и вновь повторил свое приглашение — более радушно и без чинов.

Теодор Этцель сообразил, что больше жеманиться не следует, и решительно уселся на предложенный стул.

Свой стул тайный советник установил как раз напротив гостя, так что гигант Этцель оказался — с учетом, так сказать, деликатного расстояния — лицом к лицу с могущественным, но крохотным тайным советником.

— Любезный Этцель, — молвил, после небольшого молчания, г-н Губиц (полагавший, что умеет зажигать в сердцах подчиненных чувство трепета и нежной привязанности). — Я пригласил вас для важной беседы, целью которой является порядок и добронравие, а также благо обожаемого отечества.

Заслышав про отечество, юный Этцель стиснул крестьянские кулаки и попытался унять внутренний трепет. Внимая тайному советнику, он не на шутку расчувствовался и уже всерьез ощутил на широкой груди своей вес и пламя заслуженной награды. Будущий орден настолько отчетливо представился молодому человеку, что чуть ли не плясал в стесненном кабинетном воздухе прямо перед его румяным лицом.

— Речь пойдет, — продолжал между тем тайный советник, — о некоем г-не Гофмане — сочинителе всякого рода нелепиц, которые ему угодно именовать *новеллами*. Доводилось ли вам, любезный Этцель, читать что-либо из этих глупых сочинений?

— Слава богу, нет! — искренне откликнулся молодой человек. И прибавил, что и вообще не видит большого смысла в чтении книг; от этого притупляется зрение, а кроме того, расходуется драгоценное время, которое можно отдать физическим упражнением либо службе...

Тут молодой человек слегка покраснел, так как, на крестьянский манер, чуточку лукавил. Не так уж он был предан новому своему поприщу, чтобы день и ночь помышлять о том, как бы всякую свободную минуту отдать службе в апелляционном суде. Это были скорее извинительные мечты о карьере; ну а что до книжек — то тут никакого лукавства не было. Теодор Этцель сроду не брал книгу в руки — разве что по настоянию доброго пастыря; да и то преимущественно не светское, а душеспасительное чтение.

— Что ж, — милостиво молвил тайный советник. — В ваших суждениях есть доля истины и здравый смысл. Но я позвал вас — не удивляйтесь прежде времени! — как раз для того, чтобы поручить прочитать злонравные книги названного сочинителя. А в первую очередь — ознакомиться с новеллой «Золотой горшок». Но это только часть важного задания. Главное, чего от вас ждет (тут тайный советник едва не сказал: отечество — но счел эту фигуру речи чрезмерной) — чего от вас ждет ваше будущее поприще, — это дружба с г-ном Гофманом, которую, я надеюсь, вы сумеете завести, ибо (вздых вырвался из груди тайного советника) у г-на Гофмана полно собутыльников, и вам, думаю, не представит труда войти в их число.

Теодор Этцель слушал внимательно, потом, помедлив, кивнул.

— В больших городах почти совсем не умеют пить, — заметил он с простибельным простодушием. — Другое дело — деревенские жители... Думаю, г-н тайный советник, я справлюсь с порученным делом не хуже любого другого. Г-ну Гофману никак меня не перепить.

Губы г-на Губица слегка pokrивились; это улыбка коснулась маленького лица тайного советника.

— Отрадно, — заметил он, — видеть в юношах твердую веру в собственные силы. Но дело несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Видите ли, любезный Этцель, г-н Гофман не обычный болтун, каких ныне развелось в Берлине бессечно; это опасный и в некотором роде угрожающий человек... Быть может, — потемнев лицом, прибавил г-н Губиц, — Гофман даже не совсем человек!

Юный Теодор Этцель распахнул глаза.

— Не торопитесь, — скрипучим голосом неохотно вымолвил тайный советник. — Кое-что я могу вам объяснить.

Ревнивый читатель «Золотого горшка» г-н Губиц сделался жертвой тяжелого сомнения. Две мысли — категорические и взаимоисключающие — овладели им одновременно.

Либо, с тоской и яростью думал Фридрих Вильгельм Губиц, — все сочинение проклятого писаки Гофмана — выдумка и, как выдумка, заслуживает порицания, ибо травмирует неопытные сердца, путая в них реалистические, телесные картины с фантастическим и романтическим. Но имеется и другой вариант. Что, если выдумка проклятого Гофмана никакая не выдумка, а *свидетельство, документ*? — и в таком случае все описанное в «Золотом горшке» и прочих так называемых новеллах — правда? О, тогда очень понятно стремление коварного сочинителя всячески покрыть туманом картины жизни в Атлантиде — жизни богатой, беззаботной, лишенной служебных тягот, однако полной удовольствий и ликования? Трудно и вообразить, какие чудеса — полезные и приятные — можно было бы вынести из названной Атлантиды или Джиннистана! Какая сокровищница Аладдина откроется всякому, кто проникнет за волшебные ворота!

Но стоп, что это с ним? Аладдин, волшебные ворота, Атлантида, чудеса — да ведь этак я, взволновался вдруг тайный советник, — попаду в компанию бездельника Гофмана? Но нет. Не я, а он (тайный советник думал о Теодоре Этцеле) будет моими глазами и ушами; будет сторожить каждый шаг г-на сочинителя! А уж я стану делать выводы: солгал ли Гофман (и за это ему придется ответить!) — либо... Либо сказал правду. И уж тогда (мысленно потерев себя г-н Губиц) — уж тогда он ответит вдвойне! А я, — скромно прибавил про себя тайный советник, — либо приобрету должную благодарность от того, кто выше меня на крутой лестнице тайной службы... либо — либо переуду (тут г-н Губиц слегка поперхнулся, такая причудливая мысль посетила его) — переуду в Джиннистан и заживу там как подобает... Ммм... Как я того заслуживаю! Да, это так: как я того заслуживаю.

Теодор Этцель, надо отдать ему должное, оказался довольно сообразительным малым и тотчас разобрался в хитросплетениях тайного советника. Со свойственным ему простодушием молодой человек высказал перед г-ном Губицем следующее соображение:

— Г-н тайный советник полагает, что Гофман — шпион, который пробрался в Берлин из несуществующей страны Джиннистан (потому-то г-н тайный советник и предположил, что названный сочинитель не совсем человек). И теперь г-н тайный советник желает, чтобы я втерся в доверие к сочинителю Гофману и путем слежки установил, как г-н Гофман поддерживает связь со своей несуществующей родиной. Либо, — продолжил Этцель, — в том случае, если выдумка и на деле окажется выдумкой, — Гофмана придется уличить во лжи и призвать к ответственности за те заблуждения, которые он сознательно сеет в сердцах.

Поколебавшись короткое мгновение, тайный советник с чувством произнес:

— Превосходно. Вы, юноша, порадовали меня, обнаружив проницательность и ясный ум в столь сложном и запутанном деле. Надеюсь, мне не нужно объяснять вам, что все сказанное в этом кабинете — тайна?

— Не нужно, — сказал молодой Теодор Этцель.

Его серые глаза ярко блестели, лицо покрылось нежным румянцем. Дыхание настоящей жизни — свершений, карьеры, успеха — коснулось молодого лица, как легкий и приятный ветер, прилетевший с моря. Грудь наполнилась свежим, не кабинетным воздухом.

**ВИГИЛИЯ ТРЕТЬЯ,**  
*позволяющая читателю познакомиться с сочинителем*  
*Гофманом лицом к лицу*

Осенью 1816 года в жизни Гофмана произошло примечательное событие. В дом писателя явился незнакомец с темным лицом, в щучьем сюртуке, бледно-желтой манишке и в поношенных сапогах. Неуловимый взгляд пришельца прятался за стеклами круглых очков, по которым то и дело пробегали блики. Гость не понравился Гофману, и он предпринял — довольно неуклюжую, надо сказать, — попытку притвориться другим человеком; прямо заявил пришельцу, что г-на Гофмана нет дома и что в настоящую минуту он гостит у своего дядюшки, достопочтенного тайного архивариуса Линдгорста. Да, именно так: Линдгорста. Ну а возвратится, быть может, в самый канун Рождества.

Равнодушно выслушав Гофмана, незнакомец холодно поклонился и заметил, что это его никак не смущает; в первую же свободную минуту он снова явится к г-ну сочинителю, так как к нему имеется важное дело.

С этими словами темный гость отступил и растворился в сентябрьском воздухе. Так, во всяком случае, почудилось Гофману, который с расстроенным видом следил сквозь опущенную штору за действиями незнакомца.

Однако — именно незнакомца увидеть Гофману не удалось. Сменил ли тот маршрут и вышел каким-то иным способом, укрывшись от своего соглядата; либо просто Гофман оказался рассеянным наблюдателем — но только никаких следов посетителя было не видеть. Оставалось предположить, что посетитель именно растворился в мягком свете сентябрьского дня.

Вернувшись в комнаты, Гофман, как уже отмечалось, почувствовал себя расстроенным. Он предпринял, одно за другим, несколько действий, свидетельствовавших о растерянности и подавленности духа: пробежался по комнате, бросился в огромное кожаное кресло, доставшееся от прежних владельцев квартиры; потом вскочил и, подошедши к высокому окну, резким движением отдернул штору. Но улица была пустынна, лишь огромные листья один за другим валялись с соседнего дуба, так что Гофману казалось, будто он слышит смутный гул и даже грохот.

Продолжая совершать разнообразные эволюции, Гофман — сам не заметил как — оказался во власти странной мысли.

— Да! — вполголоса произнес писатель. И повторил: — Да! Да! Это он, нечего и сомневаться.

Тут необходимо раскрыть сущность диковинной идеи, посетившей встревоженного сочинителя. В господине, явившемся без приглашения в его дом, Гофман узнал (несмотря на маскарад, которым прикрывался гость) Дрезденского Паука. Это был он — увы! Гость из прежней жизни (хотя до того никогда близко не виденный Гофманом); отвратительный и гадкий, неотвязчивый преследователь...

Скорбное восклицание само собой сорвалось с уст писателя.

Тут самое время дать читателю справку о природе пауков.

Знатоки (как, к примеру, доктор Фабр) уверяют, что чувство неприязни, которое питает человек к этим животным, совершенно неосновательно, учитывая совершенную безвредность пауков для человека и даже наоборот — некоторую пользу, которую эти насекомые приносят, поедая вредителей и истребляя личинок.

Но одно дело — паук, истребляющий личинок в родной, природной среде, и совсем другое — явившийся к тебе при полном параде, в щучьем сюртуке, бледно-желтой манишке, слегка поношенных сапогах и в очках с круглыми стеклышками, сквозь которые, из-за многочисленных бликов, невозможно разглядеть глаза! И что же, позвольте спросить, с того, что он истребляет

личинки? Да не торчит ли, сохрани боже, такая личинка прямо в его узких бледных губах?! Не зацепилась ли за петлю сюртука?!

Известно: у большинства пауков восемь глаз; челюстные стяжки состоят из двух члеников, из которых второй имеет вид когтя и пробуравлен внутри, как ядовитый зуб змеи; отдельно можно было бы сказать о весьма сложно устроенном аппарате для выделения паутины... Но и этих подробностей, кажется, довольно, чтобы убедиться: никакой представитель могучего семейства паукообразных не носит сюртука! Не обувается в сапоги! Не глядит на мир сквозь выпуклые стеклышки очков! Тут заметна явная несообразность...

Дрезденский Паук явился в некотором смысле из прошлого Гофмана. Из той поры, когда писатель на протяжении трех с лишним лет проживал в Дрездене — на природе, как он сообщал в письме Фридриху Шпейеру; прямо у Черных ворот, на песчаной аллее, ведущей в Линковы купальни («Из моего окна, увитого виноградом, видна большая часть великолепной эльбской долины»).

Внимательный читатель «Золотого горшка», вне всякого сомнения, узнает и географические наименования, и описанные черты ландшафта. Как раз через Черные ворота проходит молодой человек по имени Ансельм; тот самый, кому судьба уготовила попасть в корзину с яблоками и пирожками... Чуть позже этот же юноша доходит до конца аллеи, ведущей к Линковым купальням; далее мы встречаем его на уединенной дороге вдоль Эльбы: «Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы; за ней смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду...»

Трудно вообразить, что автор этих светлых, умиротворенных строк переживал в ту пору состояние величайшей нужды и не меньшей подавленности.

Еще не сочиненный, но задуманный «Золотой горшок» выглядел — в статусе замысла — сочинением куда более мрачным, язвительным и горьким, чем вышел впоследствии. Чудаковатый архивариус Линдгорст задумывался весьма злым волшебником, три дочери которого — золотисто-зеленые змейки — заключены в кристаллы, но в Троицын день им дозволяется три часа погреться на солнышке в кусте бузины. Ну а сам Золотой горшок был придуман Гофманом именно как *горшок*, ночная посуда, хотя и изукрашенная драгоценностями. Впервые помочившись в него, охотно объясняет Гофман в письме к издателю, юноша превращается в мартышку мужского пола.

Тот, кого Гофман именовал Дрезденским Пауком, пока не являлся сочинителю собственной персоной; но писатель уже твердо знал о его существовании и был, если можно так выразиться, к будущей встрече готов. Дело в том, что в августе 1813 года Гофману случилось быть свидетелем трагического зрелища — одного из множественных отголосков общей трагедии, прокатившейся по Европе; Наполеон, союзники, битва народов... Обратимся к странице «Дневника для друзей».

23 августа 1813: «Еще более беспокойно, чем вчера. Совсем близко грохочут пушки, а у Озерных ворот слышна перестрелка. На улицах с поля боя возвращаются раненые — окровавленные, еще не перевязанные. Кое-кого привозят на тележках; на Зеегассе я видел, как везли офицера, у которого оба глаза были прострелены».

Увиденный близко бой; бивачные костры; редуты нескольких батарей, вступившие в яростную перестрелку с батареями противника; отчетливый свист ядер; и окровавленные, изуродованные тела; лошади, которые, встав на дыбы, понесли — прямо среди груженных порохом подвод...

Именно на этом фоне был придуман и написан «Золотой горшок», создан рассказ «Магнетизер», готовился выход в свет первого томика «Фантазий в манере Калло».

Но не менее важно, быть может, что именно тут и сейчас, в Дрездене, Гофман — пока на уровне фантастической гипотезы — предполагает реальное существование Дрезденского Паука!

— Я видел его! — твердо заявлял писатель впоследствии. И добавлял несколько нелогично: — Не видел, но разглядел. Это было, представьте себе, в ту страшную минуту, когда везли того беднягу с простреленными глазами...

Гофмана потрясли сражения, свидетелем которых он стал. Но странное любопытство толкало его ближе, ближе к орудийному грохоту и военной неразберихе. В нескольких шагах от него граната угодила в повозку с порохом, людей разорвало в клочья, стоявшие поблизости дома покрылись пеплом.

Может показаться удивительным, что — среди воя и грохота, множественных смертей и отчаяния — одна сцена прочно вошла в сознание писателя, так что отчасти отодвинула иные видения. Тело раненого на повозке, лежавшее, как показалось Гофману, мертвой грудой серых от копоти тряпок; оба глаза несчастного были прострелены, и лицо представляло кровавую маску с двумя черными дырами вместо глаз. Но еще более ужасным — если возможно вообразить что-либо более ужасное! — была фигура неизвестного, скользящая рядом с повозкой и время от времени будто нависающая над поверженным телом.

Гофман прищурился. Он напрягал зрение, потому что никак не мог понять: кто этот неизвестный? Врач? Боевой товарищ? Случайный соглядатай? Что-то в таинственном спутнике умирающего настораживало и смущало мысли Гофмана. И вдруг, когда на секунду развеялся плотный слой дыма и копоти, писатель ясно разглядел этого неизвестного: то был изрядных размеров паук, ловко имитирующий человека. Пользуясь военной неразберихой и всеобщим смятением, паук прикинулся спутником несчастного, лишённого глаз офицера и теперь неотступно следовал за ним, по временам ослабляя бдительность. В такое редкое мгновение Гофману и удалось разглядеть мохнатую, подобную щупальцу ногу — одну из восьми, если знания по естественным наукам не подвели Гофмана... Но еще важнее, что в сумрачном воздухе писатель отчетливо разглядел тонкую и прочную нить, а за ней еще и еще, повисшие, подобно гамаку, над поверженным солдатом. Цепенея от отвращения, Гофман понял, что паук, не теряя времени, плетет свою паутину и — еще мгновение — опутает ею обреченного страдальца!

Громкое восклицание сорвалось с губ Гофмана. Неизвестный, которого писатель принял за паука, мигом обернулся и уставил на Гофмана пристальный, проникающий сквозь дым и чад взгляд. В эту же минуту серия ухающих звуков и свиста (то свистели близкие ядра) заставила Гофмана укрыться в ближайших развалинах. Но и там, прислонившись пылающим лбом к холодному камню, Гофман чувствовал на себе прежний неотступный взгляд.

И вот, теперь уже в Берлине, к Гофману самолично явился тот, кого он про себя именовал Дрезденским Пауком и про кого покуда не поведал ни одному человеку. Дрезденский Паук был тайной Гофмана не потому, что он опасался понятного неверия в свой рассказ. Скорее, Гофман не до конца сам доверял собственным своим чувствам и впечатлениям. А ну как, раздумывал писатель, что-то этакое воображает каждый, кого судьба занесла на поля смерти и горя?

Однако увидеть паука в праздничном сытом Берлине совсем другое дело, нежели в разоренном, воюющем Дрездене. Тут не место мрачным видениям и черным предчувствиям. Но отчего же именно здесь Дрезденский Паук показался Гофману отвратителен и страшен вдвойне? Не потому ли, что среди веселья темное предчувствие бедствий выглядит куда более зловещим, чем в момент суровых испытаний?

Так или иначе, Гофман ни на минуту не сомневался: описанным сентябрьским днем в его квартиру на Таубен-штрассе явился Дрезденский Паук. И то, что Гофману удалось отклонить, вернее — прервать нежелательный визит, — не более чем временная отсрочка.

Утопая в гигантском кресле и сжимая узкие руки, Гофман чувствовал себя отвратительно. Он позволил смятению и ужасу подступить так близко, что испытал приступ бессилия и физически не мог пошевелить ни ногой, ни рукой.

## Романтическое отступление

У тайного архивариуса Линдгорста был письменный стол фиолетового цвета. Это был огромный (кое-кто уверяет — бесконечный) стол, за которым г-н тайный архивариус проводил, быть может, лучшие часы своей безусловно примечательной жизни.

Высокие окна кабинета, скрытые тяжелыми шторами с изображением золотых пальм, волшебных птиц с серебряным и ярко-синим оперением, а также прекрасных дам и кавалеров, прогуливающихся *над* верхушками благоуханного сада, — отгораживали и защищали архивариуса Линдгорста от подлой реальности, о которой он был весьма невысокого мнения. Бросая неодобрительные взгляды на плотно закрытые окна, архивариус, слывший человеком сердитым, по временам так сводил седые брови, что между ними пробегала гневная искра, от которой можно было зажечь знаменитую архивариусову трубку.

Терпеливый читатель вправе спросить: что же так отталкивало в нашей реальной повседневной жизни, полной невзгод и тягот, г-на тайного архивариуса Линдгорста?

Для этого у архивариуса, как ни печально признавать сей факт, имелись неоспоримые основания.

Однажды в приятный летний вечер архивариус Линдгорст изменил своим привычкам и покинул кабинет в собственном удаленном от любопытных глаз поместье. Архивариусу вздумалось подышать свежим воздухом и даже прогуляться по освещенной набережной, дабы с благосклонным видом послушать как пение воды, так и людские (тоже, возможно, не лишённые приятности) разговоры.

Облачившись в свой лучший выходной наряд, г-н тайный архивариус, не теряя благодушного выражения, ступил на набережную и начал совершать вечерний променад. А надо заметить, в этот благословенный час он находился в особенном расположении духа: ему хотелось радоваться самому и радовать других своими наивными выдумками и беспечными фантазиями. Прищелкивая пальцами, из-под которых всякий раз вылетал целый сноп искр, притопывая каблуками, издающими вместо простого стука чудесный певческий звук — точно тут рядом находился усердный певец, репетирующий новую арию, — тайный архивариус шествовал по набережной, предаваясь, как уже было сказано, беспечному и несколько наивному наслаждению реальностью, которая — к удивлению Линдгорста — оказалась не столь уж низменной и отвращающей возвышенный взор.

И надо же было случиться, что в эту самую минуту на глаза Линдгорста попался добрый горожанин с доброю своею супругой, которые также совершали променад и двигались совершенно тем же путем, что и архивариус Линдгорст.

Возможно, никакого приключения не последовало бы, если бы названная пара совершала свой променад в молчании. Но глава семейства полагал, что, помимо прочих достоинств, он обладает умением говорить исполненные смысла речи (а его супруга думала то же). И вот, как раз сравнившись с тайным архивариусом, забавлявшимся в ту несчастливую минуту выдуванием из курительной трубки всевозможных чудесных уродцев, иные из которых преуморительно разглагольствовали на философические темы, — так вот, сравнившись с архивариусом, почтенный горожанин отворил рот и произнес голосом густым и уверенным (при этом еще указывая пальцем на беспечного Линдгорста):

— А что, матушка, как тебе нравится это новое изобретение для фейерверков и прочих кунштюков? (Бедняга принял архивариуса за хитроумное изобретение!) — Не правда ли, поучительно зрелище, которое совершенно необходимо показать нашим добрым детям, ибо знания множат человеческие силы на манер хорошей говядины и крепкого пива?

На что его супруга, бросив взор из-под широкого чепца, только молвила:  
— Да! Да!

— А не кажется ли тебе, — продолжал неугомонный супруг, — что сие зрелище поучительно вдвойне, ибо позволяет трактовать некоторые неясности в природе, нас окружающей? К примеру, молнии, которые пугают деревенских жителей, будут куда как понятны, ежели подвести невежественного деревенского остолопа к сему чуду техники? Слава богу, наши власти день и ночь пекутся о просвещении, не позволяя нам пребывать в первобытном невежестве.

На что супруга горожанина опять молвила:  
— Да! Да!

Архивариус Линдгорст, имевший на свой счет некоторые простительные заблуждения (а именно полагавший, что обладает нравом кротким и терпимым), целую минуту выслушивал неторопливые бессмысленные речи праздного прохожего. И, возможно, так оно все и сошло бы с рук легкомысленному горожанину, когда бы ему не вздумалось проверить свои наблюдения на ощупь; а именно — потянуть тайного архивариуса Линдгорста за нос с целью выяснить, не породит ли сие механическое действие новых чудес и диковинок, также полезных для просвещения.

Схваченный за нос, архивариус потерял терпение. Его страстная природа и огненное происхождение дали себя знать с такой силой, что это имело серьезные последствия — как для бестолкового горожанина, так и для самой природы (и, возможно даже, для просвещения!).

Засверкав в негодовании глазами, Линдгорст громко крикнул «Эй! Эй!» — так что ласковые воды реки вспенились, а прямо у ног бестолкового горожанина заработал небольшой вулкан, расточая огненные всполохи.

— Смотри-ка, милочка! — вскричал удивленный горожанин. — Как не стойки нынче дороги! Г-ну градоначальнику стоило бы присмотреть за тем, как бездельники, возомнившие себя строителями, кладут камни, не то как раз добрые люди провалятся прямо к черту в логово.

Супруга перепуганно глянула на своего господина и торопливо перекрестилась. А горожанин, отирая пот со лба и указывая пальцем на архивариуса, прибавил:

— Эти кунштюки, может, и полезны для просветительских целей — как и всякий опыт приручения живой природы, — но их следовало бы огораживать специальными заборами, чтобы добрые люди не опасались совершать оздоровительные прогулки.

А горожанка встала:

— Да! Да!

— Опыты? — зарычал потерявший терпение тайный архивариус Линдгорст. — Оздоровительные прогулки?!

И в ту же секунду так защелкал пальцами, что дымом заволкло всю набережную, а над рекой поползли облака мрачного вида, разом заставив гуляющих убраться подобру-поздорову во избежание грозы либо иного смятения природы. Что же до знакомых нам горожанина и горожанки, то они оказались — сами не зная как — на обширной площади, коей не видать было ни края ни конца. Тут и там на продолжительном расстоянии стояли какие-то незнакомые предметы, годные (как тут же решил горожанин) для развития ума либо для оздоровительных целей.

Надобно признать, однако, что горожанин отчасти ошибся; он и его супруга были посажены рассерженным архивариусом прямо на великолепный архивариусов стол, бывший, как помнит читатель, красивого фиолетового цвета.

Прогуливаясь взад и вперед по чудесному столу, добрые обыватели не заметили никаких особенных неудобств; они с любопытством рассматривали чернильницу, казавшуюся огромной, точно резервуар; стопки тончайшей бумаги, напоминавшие огромные башни; перо, столь гигантское, что его



приняли за неизвестный снаряд, изобретенный, надо думать, совсем недавно каким-либо частным ученым...

Так, прогуливаясь и расширяя кругозор, и провели остаток своих дней горожанин и горожанка, вовсе не примечая, что гуляют по столу! И только фиолетовая поверхность отчасти смущала здравомыслие горожанина.

— Полагаю, душечка, — важно говорил он, — что какой-то разгильдяй разлил по неосторожности на нашем пути чернила, — отсюда и странный для дороги фиолетовый цвет. Погляди только, какова была его чернильница, коль бездельник издержал такое количество чернил!

На что супруга отвечала из-под своего чепца:

— Да! Да!

И добрые горожане продолжали свой путь.

Сидя в кресле и предаваясь мрачным раздумьям, Гофман решил, что проклятый незнакомец (теперь уж писатель про себя не называл его иначе, как Дрезденский Паук) отныне и навек приставлен к Гофману суровой судьбой. «А что ж, — размышлял писатель, — может, так тому и следует быть? И возможно, к каждому человеку приставлен такой Дрезденский Паук, — только не всякий об этом осведомлен? И вот по наивности и прекраснодушью воображает, что он — свободен и волен принимать любое решение, какое ему только заблагорассудится; а на деле за его спиной стоит его собственное чудовище и контролирует всякое решение или поступок!»

Последняя мысль окончательно привела Гофмана в мрачное состояние духа. Он вдруг припомнил, что здоровье его начало сдавать; что часто болят руки и ноги, а также жестокие головные боли принуждают порой целый день оставаться в постели... И врачи ничего не могут придумать на его счет; их советы бестолковы, как и все на белом свете, когда... Тут Гофман прервал нить размышлений, потому что едва не выкрикнул: — Когда за твоей спиной маячит Дрезденский Паук! — но счел эту истерическую выходку чрезмерной и прикусил язык.

«Ладно, — решил писатель, взяв себя в руки. — Давненько я не навещивался в Погребок! Уж это лекарство непременно излечит меня от меланхолии, а может, и изгонит проклятого дьявола из моей жизни! Ведь мне предстоит еще так много совершить — а как прикажете творить дива искусства под надзором отвратительных паучьих глаз?!»

Из этих рассуждений Гофмана ясно видно: писатель ничуть не подозревал себя в галлюцинациях или простом заблуждении. Он верил, что все виденное им чистая правда, а не мрачный фантом. Но даже и мрачный фантом разве не заслуживает того, чтобы внимательно приглядеться к таинственным знакам?

**ВИГИЛИЯ ЧЕТВЕРТАЯ,**  
*в которой Теодор Этцель демонстрирует завсегдатаям Погребка,  
как умеют пить пуниш молодые люди,  
выросшие на деревенском приволье*

Людвиг Девриент, переменчивый в настроениях комедиант, никогда — даже и во хмелю — не терял благородных манер. И если ему случалось принимать участие в какой-либо безрассудной выходке (скажем, утащить, держа за ноги и за руки, с приятелем-собутыльником случайного посетителя Погребка и доставить беднягу прямо в гостиную к уважаемым людям во время благочинного чаепития), — то и тогда Девриент оставался любезным и даже несколько чопорным человеком.

Пользуясь тем, что его знали в самых почтенных семействах, Девриент расточал дерзкие шутки, не желая признавать никаких границ.

Неутомимым товарищем в подобных забавах был для него Гофман — человек, исключительно близкий Девриенту по духу, привычкам и жизненному укладу, а также по разнообразным художественным талантам, включая и актерское дарование.

Было около семи часов вечера, когда Гофман вошел в Погребок, коротким наклоном головы приветствуя посетителей. Несколько приветливых дружественных восклицаний свидетельствовали, что писатель прибыл туда, где его хорошо знают и испытывают к его персоне душевное расположение. Так оно и было на самом деле. Гофман был желанным гостем в Погребке Лютера и Вегнера; не только потому, что там его наверняка можно было застать после театральных представлений; но и оттого, что Гофман как никто другой умел придать дружескому сборищу не вид обыкновенной попойки, но блеск и феерический размах. Уже говорилось, что к неистощимому на выдумки Гофману частенько присоединялся другой посетитель погребка — актер Людвиг Девриент.

Завидя среди посетителей приятеля, Гофман обрадовался. Озабоченное и мрачное выражение почти совсем соскочило с его лица, он воздел кверху обе сцепленные руки и приветствовал Девриента.

Девриент заговорил негромко, но таким образом, что сразу сделалось слышно во всех уголках питейного заведения.

— Мой друг, сегодня пунш совсем не хорош. Синее пламя скудно и даже, по совести говоря, вовсе не синее, а скорее цвета мертвой лягушки. Можешь убедиться сам.

Со слабой улыбкой Гофман прошел к столу, где его уж ожидало место, и заказал высокий фиал с пуншем, который тут же и возник на покрытом узорной скатертью столе.

— Неправда, Девриент, — заметил он, ласково улыбаясь другу. — Ты, ей-богу, напрасно бранишься. И пунш, и пламя превосходны. Ты просто капризен, как все знаменитости, — вот и выдумываешь небылицы.

— Ах, вовсе нет! — отвечал на это Девриент. — Вчера, когда добрый хозяин угостил меня пуншем, я видел собственными глазами малого, который перепрыгивал через высокий купол церкви, что на Жандармском рынке!

— Да ведь отсюда, — заметил Гофман, — не видно церкви.

— Вот именно! — вскричал актер. — Ты совершенно прав, мой друг! В том-то и дело, что пунш был так хорош, что мне удалось разглядеть и церковь, и прыгуна.

Зрители, которых к этому часу набралось в Погребке порядочно, охотно заплодировали рассказу Девриента. Раздались одобрительные возгласы и дружный смех.

При всеобщих воплях ликования Гофман неожиданно нахмурился.

— Ах, — молвил он вполголоса, — напрасно ты, дорогой друг, тратишь твои драгоценные рассказы, бросая их под ноги случайным зевакам.

Девриент взмахом руки прервал товарища.

— Мои драгоценные рассказы, — возразил он, — я заимствую у тебя, мой друг. Запускаю руку в твою сокровищницу — а она, как мне подсказывают опыт и простая наблюдательность, — бездонна!

Непонятно почему, но при словах друга Гофман помрачнел еще более. Вертя тонкими пальцами массивный фиал, он с тоской глядел на хрустальные искры.

— Разрешите мне, дорогой господин Гофман, засвидетельствовать свое восхищение, а также угостить вас! — раздался вдруг громкий юношеский голос, в котором звучало неподдельное восхищение.

Гофман и Девриент разом повернули головы и тут заметили молодого человека, что сидел как раз напротив двух друзей и не сводил огненного взора с одного из них — Гофмана.

Гофман, который в этот вечер не отличался словоохотливостью, все же сказал:

— Кто вы, любезный? Я, кажется, не видал вас прежде.

— Меня зовут Теодор Этцель! — объявил молодой человек таким образом, точно его имя разрешало все сомнения. — Я прочитал десять страниц вашей сказки и совсем запутался.

Последние слова прозвучали настолько неожиданно, что оба — Гофман и Девриент — отставили бокалы и в недоумении уставились на простодушного и бесцеремонного юнца.

— Этот юноша, — заметил Девриент, — производит отрадное впечатление. — Такое простодушие и искренность заслуживают награды. Последний раз я сталкивался с чем-то подобным в салоне г-жи Н. У хозяйки жил кот по кличке Барон. Так вот, этот Барон, воспользовавшись замешательством одной дамы, которая, сняв шляпу, поправляла перед зеркалом прическу, вскочил на шляпу и, привлеченный тонким ароматом духов, помочился на букетик фиалок, украшавший широкое поле. Конечно, вышел скандал, Барона выкинули из общества, а дама в расстроенных чувствах отбыла домой.

Гофман, который, видимо, заинтересовался рассказом, спросил:

— Без шляпы?

— Вот именно. Но это только полдела. Уже в экипаже гостя набросилась на кучера, отчего он едет так медленно; для какой-то цели ей понадобилось явиться домой в самом скором времени...

— Так-так, — вставил Гофман.

— А дома ее ждал новый сюрприз.

— Тоже кот? — с интересом уточнил Гофман.

— Не кот. А супруг, оставленный на квартире по случаю болезни живота. Так вот, представь себе, мой друг: пока дама отсутствовала, его живот совершенно излечился, и поскольку хозяин не ожидал такого раннего возвращения супруги...

Гофман сморщился, потом с усталым вздохом сказал:

— Ты все путаешь, мой друг. Мы говорили совершенно о другом.

— Изволь! — тут же откликнулся Девриент. — О другом так о другом.

— Господа! — вторично вмешался тот, кто назвал себя Теодором Этцелем. — Позвольте угостить вас обоих. Для меня огромная честь оказаться в одном Погребке рядом с прославленными людьми.

Девриент и Гофман обменялись взглядами. Повинуясь знаку Этцеля, хозяин заведения спешил к троице с подносом, уставленным кубками.

Осушив первый и принимаясь за второй, Гофман задал вопрос:

— Прочитали десять страниц и запутались. Хотел бы я знать, что такое вы имели в виду?

Молодой человек улыбнулся, и улыбка его вышла такая славная, что Гофман вздохнул и сделал движение рукой.

— Ах ладно, — великодушно заявил он. — Ничего не объясняйте.

Но Девриент счел нужным уточнить:

— Что именно вы читали, мой друг? И точно ли это было сочинение г-на Гофмана? Потому что если речь идет, скажем, о романе г-жи де Ла Мотт Фуке — тогда другое дело. Я тысячу раз говорил, что женщинам не следует братья за перо. Это совершенно не тот снаряд, с которым справляются их нежные пальчики...

Теодор Этцель, внимавший речам актера с самым серьезным выражением, покачал головой.

— Нет, это не был роман г-жи Фуке. Это было именно сочинение г-на Гофмана, и там рассказывалось про одного молодого человека, который совершал всяческие нелепости и даже угодил в корзину торговки с яблоками. Я еще сразу подумал, что г-н Гофман неплохо знает жизнь. Уж я-то вам точно скажу: все торговки яблоками — ведьмы; конечно, если торгуют спелыми плодами. Знаю я, как они наводят на свои яблоки румянец...

И молодой человек замолчал с самым загадочным выражением.

— Ведьмы? — заметил Девриент. — Да вы поэт, мой милый.

— Пока еще не поэт, — заметил юноша и для чего-то покосился на свой пустой бокал. — Вот если я прикончу пятую порцию этого напитка, то уж верно сделаюсь поэтом. Со мной такое уже случалось в гостях у дядюшки в самый канун Троицына дня. Вот тогда я действительно не только одним духом сочинил стишок, но и декламировал его вслух. Мне, если хотите знать, так аплодировали, что разбили кувшин с малиновым сиропом, а также...

Девриент громко захохотал.

— Хозяин! — крикнул он. — Вина господину Теодору Этцелю! Ведь вас зовут Теодор Этцель? И подай-ка, любезный, самых румяных яблок.

— Ведьмины яблоки, — констатировал молодой Этцель, окинув взглядом принесенное хозяином блюдо.

— Ну да ничего, — прибавил он. — Это ведь только так говорится: ведьмины яблоки. А на деле — ведьмино бывает одно-единственное яблоко, его еще надо сыскать...

Гофман, который почти совсем не откликнулся на веселую болтовню, разделался с очередной порцией пунша и оглядел пустой бокал. Пламя свечи плясало в хрустале.

— Знаешь ли, мой друг, — обращаясь к Девриенту и почти совсем не замечая Теодора Этцеля, сказал он, — ко мне приставлен соглядатай?

— Соглядатай? — удивился Девриент. — Я точно не ослышался?

— Так и есть. Только я пока никак не возьму в толк, чего ему надобно. Потому что если он пожаловал за моей душой...

Актер поморщился и неодобрительно покачал головой.

— Ты говоришь, как куафюр, — заметил он с неудовольствием. — Не хватало только нам толковать о кознях дьявола и о расписках кровью!

Теодор Этцель, который при словах Гофмана заметно побледнел, успел взять себя в руки и быстро спросил:

— Что же козни дьявола? Это бывает тут и там. У нас в деревне...

— Голубчик! — вдруг заговорив басом, молвил актер. — У вас закончился пунш? Не велеть ли нашему доброму хозяину наполнить ваш бокал?

Молодой Этцель захлопал глазами.

— Велеть, — сказал он и прикусил язык.

— Ты можешь сколько угодно смеяться, — произнес Гофман, глядя прямо в лицо Девриенту. — Но сегодня днем ко мне явился...

— Неужели предводитель чертова племени? Или это был только посланец — мелкая сошка?

Глядя на искрящийся бокал, Гофман задумался.

— Кабы знать, — наконец выговорил он и вдруг передернул плечами. — Впрочем, более всего он походил на Моцартова Черного человека...

Девриент добыл из недр обширного кармана трубку и молча закурил. Дым из трубки повалил изрядный, так что его лицо на какое-то время почти скрылось из глаз.

— Отвратительная сказка, мой друг, — заметил актер сквозь клочья дыма. — Мне кажется, — мягко прибавил он, — ты устал и заразился меланхолией своих героев.

— Меланхолией? — сказал Гофман и сверкнул глазами. — Мои герои не больны меланхолией. Ты все путаешь, мой друг.

— Ладно, пусть так. Но — если хочешь знать мое мнение — я не верю в Черного человека.

Гофман пожал плечами.

— Моцарт умер. Но не Черный человек, — заметил он. — Впрочем, — задумчиво высказался Гофман, — ко мне явился вовсе не Черный человек.

Тут писатель брезгливо сморщился и коротким движением провел рукой по лицу.

— Это был Паук, понимаешь? — вдруг вскричал он довольно громким голосом. — Чудовищных размеров тварь, которая вот уж некоторое время как охотится за мной!

Тут надо заметить, что к тому моменту, когда Гофман выкрикнул слова о Пауке-преследователе, в Погребке набралось достаточно народу, и помещение было полно несмолкаемого гула, взрывов смеха, отдельных выкриков и прочих проявлений раскованного человеческого духа. Так что слов Гофмана о его преследователе, скорее всего, никто не разобрал. И все же эти слова были сопровождены небольшим происшествием. По неосторожности вспыхнул угол вышитой скатерти, и высокий гребень пламени сразу заставил гуляк потрезветь, а хозяина броситься за ведром воды. Пламя довольно быстро потушили и тут же вернулись к своим бокалам и кружкам. За все время происшествия, кажется, Девриент не вытащил изо рта трубки, а Гофман не утратил мрачного выражения лица.

### Романтическое отступление

Знакома ли благосклонному читателю поучительная повесть о мечтательном юноше, впопыхах проглотившем комара?

В шесть часов вечера в маленькую кофейню, что расположена на одной из улиц в новом районе Фридрихштадт, зашел симпатичнейший молодой человек с повадками, обличающими мечтателя и поэта. Об этом ясно свидетельствовало то, что юноша едва ли не одновременно запнулся об порог, не избежал столкновения со столом, с коего опрокинул прямо себе на штаны кувшин крепкого пива; после этих небольших несчастий юноша налетел прямехонько на завсегдатая кофейни — крепкого продавца из молочной лавки, который коротал свой выходной день, раскуривая трубку за низким столиком. Столкнувшись с продавцом, молодой человек едва не заплакал и, прижав руки к сердцу, воскликнул голосом, полным горечи и раскаяния:

— Простите меня, сударь, великодушно! Я не намеревался причинить вред ни вам, ни кому-либо из присутствующих.

Однако, высказываясь, юноша так выразительно взмахнул рукой, что вышиб курительную трубку из рук продавца — да так удачно, что трубка, перевернувшись в воздухе, рассыпала целый сноп искр, и вот одна из них угодила в рот статскому советнику, который намеревался отпить кофе из своей чашки и именно для этой цели только что отворил рот.

Далее события разворачивались стремительно. Искра, попавшая в утробу статскому советнику, наделала в оной немало бед: она обожгла (хотя и умеренно) внутренности советника, после чего застряла прямо в той области — между грудиной и желудком, — в которой некоторые медики с богословским образованием полагают отыскать месторасположение души. Так или иначе, проклятая искра застряла как раз на этом опасном участке и произвела во внутренних частях пострадавшего советника настоящий переворот; советник вдруг обнаружил, что за окнами кофейни полыхает божественный закат, причем небесные краски переливаются таким образом, что составляют в вышине как бы диковинный орнамент. Какое-то слово сорвалось с уст советника, прижимавшего по неизвестной причине руки к груди; это было слово «гармония», советник повторил его несколько раз, приведя в изумление хозяина кофейни, молочника и прочих посетителей. Ну а поэт, виновник неприятностей, услышав слово «гармония», испытал восторженное чувство. Он отворил рот, возможно, намереваясь выкрикнуть подобающую случаю поэзу, — но не успел, так как именно в это мгновение в рот поэта влетел комар. Бестолковое животное ничего особенно не изменило во вдохновенном духе поэта; лишь иногда, в тихие ночные часы, из его уст вместе со стихами теперь вырывалось небольшое жужжание, которое, впрочем, было отнесено поклонниками поэзии на счет вдохновения.

— Вот славная история, — проговорил Теодор Этцель.

— За такую историю, — после небольшого молчания продолжал он, — следует выпить. Хозяин!

Хозяин уже был тут как тут. Несколькими ловкими движениями он убрал со стола грязную посуду, а взамен поставил новые пенящиеся кубки.

Гофман, молчаливый и печальный, в три глотка осушил новую порцию густого напитка; Девриент и Этцель последовали его примеру. Тут Погребок вдруг начал медленно вращаться в глазах писателя. Вначале — медленно, но с каждым поворотом все стремительнее и стремительнее!

— Проклятая карусель! — в отчаянии вымолвил Гофман. — Если этот чертов механик — карусельщик — не прекратит свою гонку, мы все вылетим на полном ходу и разобьемся насмерть!

Из этого замечания можно заключить, что выпитое вино произвело на сознание Гофмана разрушительное действие: ему почудилось, что он сидит не в Погребеке, а крутится в адской карусели! Лица, мелькавшие перед Гофманом, слились как бы в один сверкающий круг, и уж больше нельзя было разобрать, где Девриент, где молодой Этцель, а где хозяин. Гогочущие, нелепые, кривляющиеся физиономии точно издевались над оцепеневшим писателем. Чтобы не видеть более ничего и никого, Гофман прикрыл глаза, а открыл их уже в собственной комнате, в квартире на Таубенштрассе. Осеннее солнце заливало холодным светом предметы и стены; с усилием подняв тяжелые веки и с трудом поворачивая голову, Гофман огляделся. Да, он точно был в собственной своей комнате; а на улице стоял день — быть может, полдень. Около него на стуле с высокой резной спинкой сидел румяный молодой человек, в котором Гофман узнал вчерашнего знакомого — Теодора Этцеля. Минувшая попойка ничуть не повредила молодому человеку: он был свеж, румян и аккуратно одет; на его лице светилась приветливая улыбка. Увидев, что хозяин квартиры очнулся от своего тяжелого сна, молодой человек узнал, не распорядиться ли насчет утреннего кофе и завтрака.

— Хотя время, — заметил Этцель с некоторым неодобрением, — полдень. Так что уж пора не только завтракать, но и обедать.

Разлепив сухие губы, Гофман спросил:

— Вы тут зачем? Я, кажется, не нанимал нянюку.

В ответ на неприветливую речь юноша дружелюбно засмеялся.

— Любезный господин Гофман, я вовсе не навязываюсь вам в приятели. Просто вчера господин актер попросил меня не оставлять вас одного. Он объяснил свою просьбу тем, что кто-то — возможно, ваш давний недоброжелатель — неотступно преследует вас и, учитывая ваше возбужденное состояние духа, — чего доброго, напугает вас на ночь глядя. А обо мне не беспокойтесь! Я как раз вчера и сегодня совершенно свободен; вино обычно не оказывает на меня никакого действия (возможно, из-за крепости организма); так что я охотно принял на себя несложную обязанность разделить ваше одиночество. Впрочем, — с некоторым достоинством прибавил молодой человек, — если я вам мешаю, то тут же и уйду. Хотя...

— Что «хотя»? — тусклым голосом осведомился писатель.

Щеки молодого человека еще больше зарумянились.

— Хотя мне так хотелось бы остаться! — искренно воскликнул он. — Остаться и послушать ваши удивительные речи... Ведь, признаться, вчерашний вечер открыл мне в ваших страницах кое-что такое, чего я не примечал, читая их...

— Что же? — прежним тусклым голосом спросил писатель.

Теодор Этцель задумался.

— Вчера, выпив отменного хозяйского вина, вы, господин Гофман, поразили меня не столько своими речами, сколько пламенной верой во все вами сказанное!

— Представляю, что я болтал после проклятого пунша, — раздражительно вставил Гофман.

— Это, — продолжал молодой человек, — были поистине поразительные речи! Я, конечно, не все понял... не все сразу разобрал... Тут были и Адский Брейгель (Гофман поморщился); и какая-то *фатальная* тварь... Между про-

чим, вы клятвенно заверили меня и г-на актера, что, мол, вам известно, как остановить проклятого Паука: надо нанести ему удар кулаком по левому глазу таким образом, чтобы вдавить этот глаз в самое туловище. Вы, г-н Гофман, говорили это с такой точно уверенностью, как если бы были не прославленным писателем, а столь же прославленным ученым-зоологом...

— Далее? — хмуро спросил Гофман и сделал небольшую попытку пригнуться к постели.

— Вы перепугали всех насмерть. Посетители Погребка принялись наперебой заверять вас, что все ваши речи — романтические бредни...

— А Девриент?

— Г-н Девриент ничего такого не говорил. Он вообще присел в дальний угол помещения, прямо на деревянный пол, и там залился горькими слезами. На мой простой вопрос, какова причина этих слез, г-н Девриент ответил кратко и загадочно.

— Тщета, — сказал он и всхлипнул. — Суета и ловля ветра. Какой еще вам нужно причины?

Я, понятное дело, отступил от г-на актера и занялся вами. Ах, дорогой г-н Гофман! Быть может, вы разрешите мне сварить вам кофе и — если в доме найдутся хлеб, молоко и яйца, — приготовить омлет? В доме своих родителей я научился неплохо готовить.

— Благодарю вас, — сказал Гофман, разглядывая непрошеного помощника. — Я вовсе не против. Приготовьте завтрак изо всего, что найдете на кухне. Кофе, сахар и молоко есть точно...

Молодой Теодор Этцель радостно вскочил и стремительно покинул комнату. Через несколько минут жилище Гофмана наполнилось чудесным ароматом кофе, жареных яиц и хлеба.

Писатель заставил себя подняться и занялся собой. В зеркало он старался не глядеть; знал, что — если взглянет — получит в ответ такую физиономию, что до вечера будет испытывать стыд и раскаяние.

## ВИГИЛИЯ ПЯТАЯ,

*в которой тайный советник Губиц сделался жертвой  
безответственных выдумок и заблудился в темном лабиринте,  
так что едва сумел возвратиться к своим обязанностям*

Прошло не менее месяца со дня знакомства Гофмана и Теодора Этцеля.

К чести молодого человека надо заметить, что, несмотря на свое простодушие и слабую осведомленность во всякого рода тонких предметах — как-то, живопись, музыка, словесность, — он проявил незаурядную чуткость и деликатность, входя в дружеское взаимодействие с Гофманом — человеком не только образованным, но и мало терпимым к тем, кто страдает грехом невежества. Однако Фридрих Вильгельм Губиц все равно не был удовлетворен действиями юноши. Как и многие люди, сделавшие патриотизм своей профессией, тайный советник был нетерпелив и часто совершал сгоряча и под давлением чувств глупости. Конечно, это не были рядовые глупости какою-нибудь бездельника или пустомели; всякий мыслящий человек понимает, что глупости тайного советника разительно отличаются, стоят как бы рангом выше обыкновенных нелепостей, которые творятся в мире каждодневно...

Г-н Губиц мучился. Он томился вынужденной бездеятельностью, ибо — препоручив Гофмана помощнику — волей-неволей принужден был отойти на второй план. И вот испытывал муки, сомневался — причем сомневался сразу в двух предметах. Во-первых, справится ли деревенский юнец с возложенной на него задачей? Отыщет ли в действиях (либо в сочинениях) зловерного Гофмана ключик, который откроет Тайну и позволит порядочному и полезному члену общества посещать превосходную страну Атлантиду (или

Джиннистан) с такой же легкостью, как совершить воскресную поездку в пригород Берлина? Это, конечно, маловероятно — ну да ведь как посмотреть! И если проклятый сочинитель все же не соврал?! А современная наука (морщась от напряжения, рассуждал тайный советник) допускает подобные прыжки в пространстве и во времени... Гофман — бестолковый юрист, но в некоторых науках сведущ! И не тайные ли это науки? А то — где это видано, чтобы сочинитель одерживал победы в судебных сражениях, оставляя за спиной опытных и мудрых юристов?!

Мысли несчастного Губица путались; сочинитель Гофман уступал место Гофману-юристу; а потом и вовсе — таинственному и всемогущему магу... Как же было не запутаться?!

Но была и другая мысль, не дававшая тайному советнику покоя. Что, если случится так, что Теодор Этцель разрешит загадку и откроет заветный путь в чудесную страну?! Неужели какой-то мальчишка (а не он) заслужит славу Колумба? Магеллана? Это никак невозможно, этому не следует быть...

Со стороны терзания Фридриха Вильгельма Губица могут показаться ничтожными или даже глупыми. Но в оправдание тайного советника стоит заметить, что кое-какие основания для сомнений у него все-таки имелись. Теодор Этцель весьма переменялся в последнее время. Исполняя свою тайную миссию, он не отступал от Гофмана ни на шаг; провожал того после веселых вечеров в Погребке (и имел нередко с господином сочинителем продолжительные беседы); навещался в дом к Гофману по утрам и разделял с писателем его дневные, полные меланхолии часы. Он охотно и безбоязненно вступал с Гофманом в разговоры на самые разнообразные темы, ничуть не боясь показаться малограмотным собеседником. Да и не был таким уж малограмотным! За время, проведенное вблизи Гофмана, Теодор Этцель аккуратно читал книгу за книгой знаменитого писателя. А когда прочитал все сочинения, взялся, с природной основательностью, за них сызнова. Тут-то и обнаружились в молодом человеке перемены, встревожившие тайного советника. В наивных глазах — г-н Губиц это тут же приметил — появилось выражение задумчивой мечтательности и сосредоточенной мысли. Глядя на лицо молодого Этцеля, можно было подумать, что юноша одновременно пребывает в двух разных местах: идет, к примеру, по длинному коридору апелляционного суда и прогуливается на просторном, залитом солнцем лугу, сбегающем к ярко-синей реке! А может, находится еще далее: в совсем невиданной стране, куда доступ для иных работников апелляционного суда закрыт!

Отмечая эту и некоторые другие перемены, тайный советник терзался чувством, напоминающим ревность. Он, носивший среди товарищей гордое имя Инквизитора, оказался бессилен против мальчишки, который ускользал из-под его влияния буквально на глазах!

В рассуждениях молодого Этцеля также появился новый тон. Его речь сделалась осмысленнее и как бы возвысилась над бытом; с некоторой грустью он заметил тайному советнику о том, что чудесное царство, в сущности, гораздо ближе к человеку, чем может предположить легкомысленный наблюдатель.

— Каков же адрес? — угрюмо уточнил тайный советник.

В ответ на прямой вопрос Теодор Этцель мимолетно улыбнулся.

— У каждого, сударь, свой собственный адрес.

Готовый вспылить тайный советник счел нужным сдержаться.

— А царство? — язвительно спросил он. — Тоже у всякого свое?

— Последние дни, — серьезно отвечал юноша, — я то и дело размышляю над этим. Вчера мы даже поспорили с г-ном Гофманом по этому поводу. Он упрекнул меня в излишней восторженности, — не без гордости добавил Этцель. — Но, впрочем, ничуть не меня не рассердил. Наоборот, заметил, что у меня наивная душа, а это стоит целого состояния.

— Гм! — высказался тайный советник.

Но заноза все сидела в сердце Губица. И вот эти переживания (или муки) стали причиной довольно необыкновенного происшествия. И даже именно



необыкновенного — потому что если что-то подобное в жизни и происходило, то уж никак не с тайным советником апелляционного суда!

Поздним вечером, почти переходящим в ноябрьскую ночь, Фридрих Вильгельм Губиц сидел в своем кабинете, задержавшись там по обыкновению и испытывая чувство гордости за свой самоотверженный труд, направленный на всеобщее благо. Задумавшись над этим высоким предметом, Губиц открыл книгу Гофмана (которая теперь всегда лежала на его столе) и принялся за чтение. Читая, тайный советник не испытывал никакого удовольствия; наоборот — его томило неясное беспокойство и даже страх. Казалось, чья-то рука принуждает его идти в том направлении, которое никак не соответствует его душевному расположению... К тому же тайного советника не оставляло чувство, что проклятый сочинитель насмехается над ним, Фридрихом Вильгельмом Губицем, лично... Это ни на чем не основанное соображение было, скорее всего, плодом интуиции тайного советника (а надо заметить, что прежде г-н Губиц знать не знал ни о какой интуиции, — ну а теперь она, можно сказать, обнаружилась).

Читая о страданиях студента Ансельма, заключенного в стеклянную банку, тайный советник морщился, но все-таки с опаской поглядывал на стеклянный графин с кипяченой водой, который заботливый служитель поставил на его стол. Глупая мысль, как тесен проклятый графин; и что, чего доброго, в нем недолго захлебнуться — так овладела умом тайного советника, что он заерзал, а потом решил на время покинуть кабинет — дабы придать мыслям верное направление. Для этой цели измученный Губиц положил выйти на балкон, расположенный над центральным входом в апелляционный суд. Для этого ему надо было миновать длинный и темный коридор, подняться по лестнице и пересечь приемную. Все еще поглядывая на графин, тайный советник встал во весь свой крохотный рост и твердым шагом покинул кабинет.

— Освежусь! — решил измученный Инквизитор. — А потом и за дело.

Всякий, кому доводилось бывать в присутственных местах, знает, что коридоры там построены на один лад, словно одним и тем же мрачным архитектором. Они, как правило, длинные, темны и лишены какого-либо намека на удобство — для тех, кто имеет надобность и смелость вторгнуться в сей административный чертог.

Таковыми точно были коридоры апелляционного суда; но прежде тайный советник относился одобрительно к этой суровой, намекающей на аскетизм архитектуре. Однако нынче, в поздний час, прикованный долгом к своему служебному посту, г-н Губиц если и не поменял своего мнения, то был поколеблен в нем.

Как раз сегодня темный и продолжительный коридор показался ему адской ловушкой, из которой нет и не может быть выхода. Воображая себя человеком изрядной храбрости и чуть ли не воином, тайный советник именно тут вдруг припомнил, как в далекой юности убил железным прутом крысу и как после гордился этим подвигом. Неизвестно по какой причине Губицу пришло в голову: а не засела ли сейчас на его пути проклятая крыса — причем не прежняя — небольшая и хилая, а выросшая за эти годы до гигантского, даже неправдоподобного размера? Холодный пот выступил на небольшом лбу тайного советника, а руки его задрожали. Выдуманная им крыса так устрасила воображение Губица, что он чуть было не принял решение вернуться в кабинет, а затем и вовсе покинуть здание апелляционного суда; и, право, так было бы куда лучше для впавшего в смятение одинокого чиновника!

Однако ноги сами несли тайного советника дальше, в темную глубину бесконечного коридора.

«Эта крыса такова, — вдруг подумал бедняга, — что ей не составит труда проглотить меня целиком — с мундиром и сапогами».

Внезапно во тьме забрезжили огни. Они горели между полом и потолком так ярко, точно звезды, по ошибке залетевшие в апелляционный суд. Светляки?

Тайный советник стал неподвижно. Помертвевшие губы никак не разлеплялись, чтобы исторгнуть спасительный крик. Но крикнуть Губиц не сумел. Прямо навстречу ему из тьмы мелкими бойкими шажками и очень стремительно шел крохотный (даже менее Губица) человечек, который — если быть честным — слабо поднимался над полом, но, однако, сохранял на крохотной и уродливой физиономии весьма раздражительное выражение. Добежав до г-на Губица, ночной посетитель апелляционного суда на мгновение замер, а потом, ловко подтянувшись, взбежал по коленям, животу, шее тайного советника и норовил заскочить тому за воротник. Тут-то онемевший от ужаса Вильгельм Губиц сообразил, что малыш — не что иное, как представитель рода муравьев — так называемый муравей-бульдог; существо, как известно всякому, хотя и примитивное, но крайне раздражительное и злобное. Эти свои свойства гадкий муравей не замедлил обнаружить: взбежав по тайному советнику, точно по стеблю осоки, и добравшись до его беззащитной шеи, он, не медля и минуты, вцепился в тайного советника мертвой хваткой, впустив в беднягу свои зазубренные челюсти и обрызгнув рану врага отравляющими каплями, немного напоминающими обыкновенный, однако парализующий жертву клей. После этих ловких действий расторопного муравья тайный советник поменял свое намерение отступить в собственный кабинет. Вместо этого он, произведя изрядный шум, рухнул на пол и закатил глаза. Свет померк в его зоре, а ему на смену явились видения, до такой степени далекие от апелляционного суда и прочей материалистической природы, что о них нечего и говорить.

Тайный советник пролежал в коридоре суда до утра. Утром его отыскал сторож, явившийся на службу первым, чтобы разогреть для господ чиновников чайник и обойти судебное помещение с ежедневной ревизией. Он-то, как сказано, и наткнулся на тело г-на Губица, чему был немало удивлен. Обойдя бездыханного тайного советника несколько раз, сторож неодобрительно пощелкал языком, справедливо полагая, что ежели каждый чиновник расположится подобным образом поперек коридора, то в апелляционный суд и пройти станет невозможно. Впрочем, к тайному советнику тут же подбежали другие явившиеся на службу чиновники; они оказали несчастному помощь и, провожая того в кабинет, все спрашивали, что за недуг приключился с ним? Но тайный советник отвечал скупой и неохотной, сославшись на внезапный приступ неизвестной колики. А о муравье-бульдоге не обмолвился и словом; будто этот муравей не существует на свете, а есть одна только фантазия — хотя и с преострыми челюстями!

После приключения в коридоре апелляционного суда тайный советник Губиц два или три дня провел дома. Не имея привычки обсуждать с домашними подробности своей служебной жизни, советник мучился в одиночестве. Сильнейшие подозрения терзали его изъеденную чувством долга душу. Станный случай в суде (речь, разумеется, идет о нападении на чиновника неизвестного муравья-бульдога) непонятно почему убедил Губица в том, что сочинитель Гофман вынашивает темные замыслы в отношении его, тайного советника. И хотя последнее никак не подтверждалось донесениями Теодора Этцеля, приставленного к Гофману с двойной целью: выследить, не знает ли сочинитель пути в волшебную, многократно описанную им Атлантиду; и вторых, выявить — если на то будет случай, — не носит ли злонамеренный Гофман дальней цели расшатать общество, наводняя умы людей фантастическими бреднями, — подозрения тайного советника укрепились.

Однако, должен был со скорбью признать г-н Губиц, пока донесения молодого Этцеля не отличались основательностью и глубиной. Нет, молодой человек аккуратно докладывал о всякого рода невинных Гофмановых проделках; о том, как, к примеру, во время разговора вокруг рта сочинителя и на лбу его появлялось множество полупечальных, полунасмешливых демонов...

— Демонов? — с нажимом повторил тайный советник, пристально глядя на Теодора Этцеля. — Что означает сие замечание? Растолкуйте.

Теодор Этцель отвечал беспечной и мечтательной улыбкой, с некоторых пор утвердившейся на юном лице.

— Ничего особенного, — помолчав, со вздохом разъяснял он. — Просто господин сочинитель обычно пребывает во власти грёзы.

— А? Чего? — точно вдруг оглохнув на оба уха, вскрикивал тайный советник.

— Грёзы. Мечты. И праздные разговоры служат господину сочинителю своего рода музыкальным фоном, а то и проводником. Он их и слышит, и не слышит, думая о чем-то своем...

При этом невинном объяснении щеки тайного советника медленно покрывались темно-коричневым румянцем. На маленьком, лишенном благородства лице утверждалось угрожающее выражение; со стороны даже могло показаться, что у тайного советника внезапно разболелся зуб.

— Превосходно! — объявлял он, вскакивая и приподымаясь на цыпочки, дабы придать фигуре более пафоса. — Ваш господин сочинитель — безумец и шут гороховый. Кривляка и пьяница; да, именно так. Кривляка и пьяница.

Молодой Теодор Этцель задумчиво и с некоторым сочувствием наблюдал гневные эволюции тайного советника. Потом с прежним терпением пускался в объяснения.

— Господин Гофман действительно употребляет много вина. Случайному наблюдателю может даже показаться, что он пьет без перерыва и во всякую свободную минуту. Но, право же, г-н тайный советник, это не совсем так. Пьет г-н Гофман хотя и часто, но лишь в те мгновения, когда сознательно стремится отрешиться от своего чудовища — демона скуки. О чем я уже докладывал вашему превосходительству. Но, г-н тайный советник, уверяю вас: когда г-н Гофман усаживается за фортепиано и принимается аккомпанировать собственным чудеснейшим рассказам — скуки как не бывало! Весь Берлин говорит о проделках г-на сочинителя с восторгом, точно о новой пиесе.

Однако, и именно по существу дела, Губицу удалось узнать очень немного. Главным образом то, что он знал и раньше: фантазии Гофмана владеют неокрепшими умами его сограждан. Вызывают восхищение. Передаются из уст в уста. При этом — вот беда! — вымыслы и реальность давно уж поменялись местами; благодаря Гофману, все сдвинулось со своих устойчивых позиций. Рассказни этого зловредного эльфа (тайный советник и не заметил, как сам начал мыслить в гофмановских категориях) пересказываются берлинцами, точно события, бывшие на самом деле! Чего, к примеру, стоит рассказ, как в апелляционный суд явилась для дачи показаний голова умершего на тот момент юстиции советника г-на Штаубе и объявила во всеулышание, что, покуда ей не нальют фиал грога, она не скажет и слова! Грога! На службе! И какой пример молодым увальням вроде Этцеля! Но стоп, что творится с ним самим, тайным советником Губицем, тем, что еще недавно именовался Инквизитором?! Куда подевался его здравый смысл? Разве может голова давать показания отдельно от тела? Это очень сомнительно; хотя — если принять во внимание, что тело погребено и не может явиться в суд, — тогда...

Тайный советник громко застонал. Проклятый Гофман! Вот вам плоды *невинных* фантазий!

Но был вопрос, который беспокоил тайного советника еще настоятельнее. Атлантида, Джиннистан... Знает ли Гофман дорогу в вымышленную страну? А в том, что такая дорога есть и совершенно необходимо ее разведать, г-н Губиц теперь окончательно уверился. И не вышло ли так, что молодой Этцель, который, как показывают наблюдения, все более смотрит проклятому сочинителю в рот, решится утаить свое открытие и воспользоваться им самолично?!

Тайный советник с ожесточением потер маленькие ладони. «Ну нет! — вскричал он. — Меня ему не перехитрить. Он будет следить за Гофманом, а я — за ним».

Приняв благодетельное решение, г-н Губиц почти совсем успокоился, как вдруг вспомнил: Теодор Этцель мимолетно обронил слова о каком-то навязчивом кошмаре в жизни Гофмана.

— Г-н сочинитель уверен, что кто-то злонамеренный следит за ним. Так полагает и его друг — г-н актер Девриент.. Я было засомневался и вообразил, что г-н сочинитель намекает на мое — совсем не злое — присутствие. Но скоро понял, что речь не обо мне и не о вашем превосходительстве. Тот преследователь (извините меня, г-н тайный советник) явно повыше рангом... Какая-то темная, мистически окрашенная фигура ворвалась в жизнь несчастного сочинителя!

Высказавшись, молодой Этцель в тоске сжал свои крестьянские руки.

— Несчастный? Сочинитель? — с ревностью в голосе вскрикнул тайный советник.

— Увы! Увы! Это именно так. Подумать только: г-н Гофман вообразил, что таинственный преследователь угрожает его рассудку и жизни. «Отвратительный негодяй наступает мне на пятки!» — именно так он выразился. Потом г-н Гофман уронил несколько жгучих слез на свою манишку и добавил: «У меня, мой друг, есть только один выход — бежать. Атлантида не выдает пленников!» Так в точности и сказал; назвал меня своим другом!

— Атлантида! — заорал тайный советник и подпрыгнул над полом. — Все сходится! Все так и будет! Гофман устремится в Атлантиду!

Теодор Этцель пристально посмотрел на тайного советника и сокрушенно, точно дивясь его наивности, покачал головой.

— Вы не совсем правы, г-н тайный советник. Господин сочинитель не устремится в Атлантиду. Он уже *стремится* туда — всякий час, всякую минуту! Каждая строка его сочинений — пропуск в волшебную страну, написанный огненными знаками! Сожалею, г-н тайный советник, — помолчав, прибавил Теодор Этцель, — но это пропуск только на одного человека.

По лицу тайного советника Губица пробежала судорога.

— Глупец! — орал он. — Я отстраняю тебя от дел!

Но Теодора Этцеля уже не было в комнате, тайный советник кричал в пустоту, ему отвечало только потревоженное пламя свечей.

### Романтическое отступление

Проницательный читатель без труда обнаружит, что в нашем повествовании все настойчивее и прочнее переплетаются нити романтического и реалистического рассказа. В оправдание себе автор хочет заметить, что ничего решительно неправдоподобного в этом смещении нет. Придумав повесть «Золотой горшок», г-н сочинитель Гофман — сам того не ведая — совершил изумительное открытие. Он обнаружил, что фантастическое вторгается в человеческую жизнь безо всякого предупреждения, как то случается с природными явлениями — дождем либо снегом. Такое вторжение (точно как и природное) может носить живительный либо губительный характер — решительно все тут зависит от сопутствующих обстоятельств. Теперь уже открытие г-на Гофмана признано всеми мыслящими людьми и даже учеными, находящимися на службе в Академии наук. Об этом как раз наше очередное *романтическое отступление*, к которому автор — после своей оправдательной речи — намерен приступить.

Один прославленный (ныне уже умерший) ученый как-то в вечерний час прогуливался, постукивая палкой, по Унтер-ден-Линден, где как раз расположено заведение знаменитого кондитера Тейхмана. Будучи человеком подлинной учености, почтенный старик пристально оглядел витрину, украшенную причудливыми сооружениями тортов, выполненных на манер старинных замков и увенчанных башнями из цукатов и мармелада; пирожными в форме плывущей ладьи, дамской шляпки и старинной камеи; а также множеством

других изделий, в которых перемешались розовые, зеленые и кремовые цвета, служащие, как хорошо известно, для возбуждения аппетита и душевной приподнятости.

Осмотрев витрину, почтенный ученый громко вымолвил:

— Так! Шляпы. Ладьи. Замок. Розовое. Кремовое. Отлично. Так-так.

Заключив сказанное новым постукиванием палки, ученый старик решительно проследовал под приветливый кров кондитерской в твердом намерении продолжить научные штудии на месте. Тут-то и приключилась с ним неприятность. Занявши удобное плетеное кресло перед столиком, накрытым опрятной скатертью, ученый муж, продолжая постукивать палкой, призвал служителя и сделал заказ. Расторопный малый тут же кинулся исполнять (а заказал пытливый исследователь, помимо кофе, сваренного на французский лад, три пирожных «Орландино» и четверть торта с возвышенным именем «Наполеон» (крем-брюле плюс шоколадная треуголка).

Дожидаясь заказа, ученый муж кидал вокруг себя благосклонные взгляды, в результате чего заметил многочисленное семейство горожан, разместившееся неподалеку. Маленький мальчик — младший среди детей — особенно пристально рассматривал почтенного ученого мужа.

Наконец служитель принес серебряный поднос, уставленный сладостями. Разложив на коленях салфетку, прославленный ученый принялся за еду. Но (приготовься, читатель!) — едва лишь вонзил зубы в нежное пирожное, как раздался детский крик:

— Глядите! Какой преогромный торт! Да еще двигает руками!

Крик принадлежал младшему сынишке того самого семейства, что расположилось в кондитерской; ну а тортом он именовал несчастного ученого, который от удивления разинул рот с застрявшим куском «Орландино».

Оглядев изумленного ученого мужа, отец семейства и почтенная мать замахали на сына руками:

— Глупый мальчишка! — прогремел отец. — Никаких тортов с руками и ногами не бывает. Это не торт, а пирожное «Геркулес» — недавнее изобретение нашего доброго господина кондитера.

— Из изюма, шоколада и орешков «птю», — добавила матушка. — Только, мой друг, мне кажется, это пирожное уже не свежее. Сколько времени, как ты думаешь, оно выставлено тут на витрине? (Последние слова были адресованы отцу семейства.)

Прежде чем отворить рот, тот немного подумал.

— Лет пятьдесят, никак не меньше! — уверенно заявил папаша. — Погляди-ка, милочка, на его поблекшую физиономию!

Несчастный ученый муж замер от изумления и негодования. В растерянности и гневе он отворил было рот, чтобы дать бестолковым посетителям кондитерской достойный ответ (дабы они никогда впредь не путали прославленных ученых с пирожным «Геркулес!») — но из дверей уже спешил хозяин с преогромным сверкающим ножом.

— Милостивая сударыня! Дорогой господин! — кричал он. — Не угодно ли попробовать нашего пирожного? Оно — даю слово! — самое свежее из всего, что стоит на витрине! И вот вам доказательство: цукаты для него только что изготовлены, не угодно ли взглянуть?

И плут подсунул гостям под самый нос целую тарелку разноцветных цукатов.

— Вы можете, — болтал негодник, — даже сами украсить чудесное пирожное!

И с сими словами затолкал за шиворот несчастному ученому мужу изрядную горсть цукатов.

— Орехи! Шоколад! Целые кусочки ананаса! — орал кондитер.

Тут автор отступления вынужден остановиться и опустить завесу над досадным происшествием. Автор делает это совершенно сознательно, чтобы не

поколебать и без того поколебленный авторитет науки, а также известного ученого, сделавшегося жертвою нелепой ошибки. (Кстати: если читателю будет угодно посетить заведение знаменитого кондитера Тейхмана, ему представится возможность убедиться, что никакого пирожного «Геркулес» там не получить. Это пирожное разбирают в первую очередь самые ранние посетители, падкие до такого рода диковинок.)

**ВИГИЛИЯ ШЕСТАЯ,**  
*позволяющая читателю заглянуть одним глазом  
в волшебную страну Атлантиду,  
по-другому называемую Джиннистан*

Пристальное разглядывание того, чего не существует на свете, — неблагоприятное занятие. Тем удивительнее, однако, что люди во все времена охотно предавались такого рода бесперспективным исследованиям. Но, возможно, их оправдывало то, что под видом какой-то мифической страны или царства они изучали устройство собственной души, тяготеющей к далеким непознанным горизонтам?

География, равно как и внутренняя жизнь утопических стран, приблизительно и темна. Сведений об этом предмете сохранилось ничтожно мало. Сочинения Гофмана не исключение. Более того: писатель как будто сознательно подчеркивает неохоту углубляться в подробности, касающиеся описания вымышленной Атлантиды. Он ограничивается более намеками и смутными указаниями; для него предпочтительнее набрасывать контур, а не рисовать цветную картину. Это, надо отметить, тем более удивительно, что романтический сочинитель Гофман вообще-то не поклонник туманных намеков; его сочинения полны конкретных событий и подробностей. В них в равной степени правдоподобны и детально описаны как судейский чиновник, так и высокоученый Повелитель блох. Ни у одного современного Гофману автора мы не найдем такого количества убедительных сведений о троллях, кобольдах, феях и магах — как злонамеренных, так и великодушных; притом описаны эти персонажи не только достоверно, но и безо всяких намеков на ложную таинственность. Они ничуть не менее рельефны, чем реферндарий или коммерции советник. Справедливость требует добавить, что то же относится и к *реквизиту*, или предметному миру, среди которого живут и действуют персонажи. Горячий пунш в хрустальном бокале действительно горяч и искрится, а нагаром со свечей можно обжечь руку; на черных атласных брюках легко обнаружить блеск, свидетельствующий как о качестве материала, так и о некоторой поношенности... Но, вынуждены повторить, то же внимание писатель уделяет и предметам вымышленным; даже и настолько уделяет, что простодушный читатель легко впадает в обман и верит сочинителю! Человек, одетый почти совсем по-китайски и путешествующий в открытой хрустальной раковине, въезжает в мирный лес (а кругом разносятся звуки стеклянной гармоники); картина благодаря заботе художника горит и переливается, а стеклянный звон, надо думать, до сих пор вторгается в уши случайных гуляк...

Вернемся, однако, к придуманной стране, видение которой то и дело вспыхивает на страницах сочинений Гофмана.

Конечно, проще всего было бы ограничиться замечанием, что, подобно большинству романтиков, писатель находил утешение в мыслях о несуществующем прекрасном царстве. Однако случай Гофмана не таков. Его вымыслы, как нам еще предстоит убедиться, обладали не только драгоценным хрустальным блеском, но и крепостью подлинной породы.

С абсолютной ответственностью мы заверяем читателя: Атлантида Гофмана — реально существующее инопланетное государство, расположенное, впрочем, не на *другой* планете, но все же более тяготеющее по своему местора-

сположению к Космосу, нежели к Земле (некоторые знатоки в этой связи настойчиво используют термин «Сириус»; но вот говорят ли они о конкретной звезде Сириус или об иной точке с аналогичным названием — пока до конца не известно). Приходится ограничиться общепринятым взглядом: Атлантида Гофмана ближе к Сириусу, чем к Земле. Отсюда и немногочисленные указания писателя на *вести с Сириуса*, которые получают ученые маги (впрочем — хотя опять-таки это не более чем предположение — в сочинениях великого романтика довольно часто упоминается и Полярная звезда. Так что выбор отчасти затруднителен.)

Имеется и еще одно географическое указание: Индия. Прекрасная принцесса Бальзамина дремлет там в колыбели Лотоса... Да и помимо этого, существуют другие — прочные невидимые — нити, связывающие Атлантиду с этой страной.

Однако ревнивые и преданные читатели Гофмана слабо верят в т.н. *индийский вариант*. Почему? Скорее всего, по той причине, что в далекую Индию, хотя и не часто, все же ходит транспорт. Туда, к примеру, уже теперь можно добраться по железной дороге. А кто и когда, позвольте спросить, ездил в страну фей на поезде?!

Так или иначе, перед пытливым исследователем (читателем) Гофмана открывается веер возможностей: Индия, Сириус, Полярная звезда. Однако автор настоящего сочинения берет на себя смелость утверждать: будучи верным реалистической линии (пусть и с красивым романтическим уклоном), писатель Гофман все же лукавил; он сознательно уводил взгляд доверчивого читателя в небесные сферы, тогда как таинственная Атлантида лежала прямо под носом у глубокомысленных наблюдателей! Ближе некуда, рукой подать... Дело в том, что волшебная страна Гофмана, вся как она есть — с диковинными деревьями, изумрудными водопадами, с цветами, поминутно превращающимися в прекрасных бабочек, и с бабочками, искусно притворяющимися цветами; с магами, вперившими неподвижный взор в Гороскоп; с беспечными феями, омерзительными троллями, с неутомимым Мастером-блохой и прочее, и прочее, и прочее! — вся эта страна, повторяем, умещалась в комнате с единственным окном, выходящим прямо на унылую площадь с каменным истуканом посередине, так что из окна была заметна только его могучая каменная спина в довольно уродливом сюртуке. Кто таков был истукан, неизвестно. Возможно, в прежние времена он прославил себя каким-нибудь чудесным открытием, и вот благодарные потомки изваяли его в виде каменной фигуры на пустынной площади. А может быть, человек в сюртуке оказался на каменном постаменте по ошибке либо для отвода глаз; во всяком случае, лица его было не разглядеть. Окно было устроено таким образом, что виднелась только спина; и вот, глядя в эту спину, зритель впадал в такую смертельную тоску и отчаяние, что даже неодолимые предметы начинали испытывать к нему симпатию и сочувствие. Тогда окно наливалось теплым светом и начинало испускать волшебные лучи. Это означало, что Атлантида совсем рядом, ее неземные ароматы и звуки лились в комнату, как потоки весеннего животворного света. А надо заметить, что до описанной минуты комната имела довольно обыденный вид: около одной стены помещался просторный кожаный диван, а напротив, боком к окну, стояло также довольно широкое кресло. Перед креслом на столе лежали несколько стопок книг, стоял бронзовый подсвечник с тремя нагоревшими свечами, а также помещалась трубка, которую хозяин изредка закуривал. Имелись, конечно, чернильница со свежими чернилами и отточенные перья. По всему этому можно судить, что в комнате проживал ученый человек, чуждающийся общества и предпочитающий всякому обществу хорошую книгу и трубку. Так оно на самом деле и было. В комнате и раньше, и теперь жил писатель Гофман. Это жилище не имело никакого отношения к другим известным адресам Берлинского рассказчика. Более того: оно не располагалось ни в Дрездене, ни в Берлине, ни даже вообще в Германии. В том-то и дело, что писатель проживал в комнате с чудесным окном не совсем на

законных основаниях; не имея никакого соответствующего документа, подтверждавшего его право сидеть перед окном и раскуривать трубку. Комната (если можно так выразиться) была местом незаконной эмиграции Гофмана, где он проводил свои лучшие часы — в праздности, беспечных размышлениях, а то и в приятных прогулках, поучительных беседах с тем или иным гостем, которому вздумалось навестить писателя. Чаще всего гости являлись без специального приглашения, тоже как бы незаконно: иной раз, примечал Гофман, выпустив из трубки один за другим несколько клубов дыма, его посетитель прямо и конденсировался из этого пепельного облака; садился на кожаный диван и вступал с писателем в нескончаемый спор о каких-нибудь неизученных свойствах лотосов, имеющих обыкновение распускаться в верховьях Нила ранней весной; либо о врожденной способности жителей Сириуса к музицированию, по каковой причине в ясную зимнюю ночь человек, поднявший лицо к звездному небу, отчетливо слышит хрустальные звуки небесной музыки.

Иногда гости приходили к Гофману, предваряя свое явление сердитым и настойчивым стуком в дверь. Эти без церемоний вторгались к писателю и тут же становились перед единственным высоким окном, заслоняя струящиеся оттуда лучи. Они уверяли, что превосходно заменят всякое окно; что сами способны испускать сколько угодно лучей, ибо их природа и состав родственны звездному веществу. И в самом деле принимались заносчиво лучиться прямо под пылающим взглядом Гофмана!

Случалось и так, что к писателю никто не приходил. Он сидел в своем кресле один-одинешенек, так что даже начинал воображать, что он никакой не сочинитель, а обыкновенный корешок дерева мандрагоры — правда, обладающий редкими свойствами одухотворять мертвую натуру и в несколько минут обучать речи любой неодушевленный предмет...

Более всего на свете, однако, Гофман любил, когда его гостями были не существа с далеких планет либо *маленькие* посетители темных земных недр; более всего, надо повторить, он радовался, когда его навещали *звуки* (дети гармонии). Это были лучшие гости, обладающие способностью уносить сочинителя в такие сферы, куда не могло увлечь и самое могучее воображение! Только музыке было под силу перенести Гофмана в светлые сады, озаренные никогда не тускнеющим сиянием, где он мог прогуливаться под купами нездешних деревьев, чьи великолепные серебряные стволы уносились в небесную высь и где его всегда дожидалась беспечальная подруга с ласковым взором и душевным томлением...

Читателю, может быть, покажется, что автор, увлекшись красотами вымышленной страны, рисует перед ним портрет праздного мечтателя, убегающего от тягот реальной жизни под светлые своды вымысла. Позволено ли, однако, автору заметить, что, во-первых, от реальности далеко не убежишь; ну а во-вторых, — вымыслы отнюдь не всегда светлы и беспечальны; и что в авторитетном трактате «О вымыслах» (приписываемом скромному ученику прославленного Птолемея, студиязусу Альфреду Ван-Булику, впоследствии прославленному врачу-врачевателю и музыканту) прямо говорится, что природа вымыслов не менее разнообразна, чем природа так называемой реальной жизни; и что лишь глупец полагает, будто вымыслы суть невесомые полеты воображения над подлой реальностью. Увы! — возражал великий врачеватель и музыкант. Всякий, кому угодно было приоткрыть завесу, скрывающую от примитивного взора фантастическую реальность, убеждался: рядом со светлыми и умиротворяющими картинками и тесно с ними переплетаясь, живут фантазмы совсем иного рода. Человек с пытливым умом понимает, что ночные, а тем более дневные кошмары имеют ту же самую природу, что и невинные мысленные прогулки в садах цветочных фей и эльфов. Иначе говоря, мир фантазии столь же многообразен, как и реальный мир; потому-то человек чуткий легко улавливает не только струящиеся и сладостные ароматы, но и зловещее (а порой и зловонное) дыхание вездесущего темного начала...



Короче говоря, проницательный читатель теперь уж точно не удивится, обнаружив в волшебной Атлантиде зловещую тень отвратительного преследователя писателя; тень неотступную и тем более ужасную, что та умела являться не под одним только покровом ночи, но и среди ясного сияющего дня.

Проклятый Паук никуда не исчез. Да и странно было бы рассчитывать на что-нибудь подобное... Разве великий Моцарт сумел избавиться от своего Черного человека? Разве с полной достоверностью описанный Гофманом студент Натанаэль избежал злой участи и не был всецело подчинен власти лживого Спаланцани, в котором — вне всяких сомнений — поселился проклятый колдовской дух Песочного Человека?! Увы, увы — таких примеров несметное множество. Черная тень присуждена нам от рождения и сопровождает до самой смерти. Такова участь всех родившихся на Земле. Другое дело, наш дух обладает дивной способностью противостоять проклятым чарам. У одних это противостояние обеспечено отсутствием воображения и тем, что они Черную тень не примечают (либо принимают за обыкновенную тень). Ну а других ведет истинное мужество и сила духа... Что же до скромного сочинителя — что ж!.. Он не пуглив, не страдает галлюцинациями и готов бесстрашно встретить то, что уготовано судьбой. Однако и не даст вовлечь себя в обман. Проклятому Пауку — сколько бы тот ни тшился — не удастся выдать себя за благонамеренного гостя или случайного знакомого. Он, Гофман, разглядит отвратительную рожу под любой личиной... И если мерзкая тварь рассчитывает на легкую победу..

Размышляя, Гофман уронил голову на грудь. Он вдруг сделался тих и печален, ибо припомнил, что с некоторых пор ему стала настойчиво напоминать о себе загадочная болезнь, выражавшаяся в сильнейших болях в руках и ногах и иногда доводящая его почти до полной неподвижности. Именно в такие минуты писатель с ясностью чувствовал, как прочная паутина обвивает его руки, ноги и грудь; как мешает видеть, слышать, дышать... Ах, это паутина страха, смертельного ужаса! Она вначале парализует человека, а потом лишает его жизни!

«Пусть попробует.. пусть только попытается еще раз приступить ко мне!» — шептал Гофман, с трудом разлепляя бледные губы. Он был готов к борьбе, но и понимал, что совершенно одинок.

«В такой борьбе, — твердил сочинитель, — мы все одиноки».

— Господин Гофман! — звонко спросил молодой Теодор Этцель. — Позволительно ли мне задать вам вопрос необыкновенной важности?

Писатель открыл глаза и потер виски, укрощая острую как игла боль. Потом наклонил голову и спокойно вымолвил:

— Спрашивайте, мой друг.

Но Теодор Этцель вдруг утратил свою решительность. Он медлил, как бы взвешивая: следует ли произносить вслух то, что случайно коснулось внутреннего слуха?

Однако, после некоторых колебаний, сказал:

— Дорогой господин Гофман. Вчера — стоял, если вы помните, довольно ясный для этого месяца день — я прогуливался по бульвару, названия которого не приметил. Над моей головой неслись легкие, лишенные очертаний облака... Дубы, почти совершенно лишенные листьев, смотрели сумрачно и угрюмо. И вот, задержавшись под деревом с широкими, распластанными, как руки, ветвями, я обратил внимание на человека, который неотступно шел за мной следом, начиная от самого вашего дома, господин Гофман. Вначале мне пришлось в голову, что незнакомец — ваш поклонник, пожелавший сохранить инкогнито и войти к вам в доверие через меня — скромного почитателя вашего необыкновенного таланта.

Однако позднее, бросив через плечо несколько взглядов, я смог убедиться, что за мной более никто не идет. «Стало быть, — решил я тогда, — незнакомец

либо случайный прохожий, либо...» Но в тот раз мне не суждено было довести мои рассуждения до логического финала.

Я стоял, если вы помните, любуясь могучим деревом с обнаженными ветвями; и вдруг точно черная тень покрыла меня, и дерево, и часть бульвара! Мне даже пришло в голову, что напоззла грозовая туча, хотя грозам в ноябре никак не время...

Теодор Этцель замолчал и сердито повел широкими плечами.

Гофман глухо спросил:

— В чем же вопрос?

Сочинитель сделался совсем бледен и угрюм, а взгляд, наоборот, точно вспыхнул.

— Я желал бы знать, — твердо выговорил Теодор Этцель, — как выглядит тот таинственный преследователь, о котором вы рассказывали господину Девриенту... да и в беседах со мной (которые я необыкновенно ценю!) вы также касались этого... предмета.

На мгновение Гофман прикрыл узкой ладонью глаза, а потом издал короткий сухой смешок.

— Вас интересует Дрезденский Паук? — громко выговорил писатель, так что молодому Этцелю показалось, будто в воздухе заблестали электрические искры. — Извольте. Мой Дрезденский Паук (Гофман отчего-то подчеркнул слово «мой») может, по моим наблюдениям, принимать весьма разнообразные личины. Иногда он даже смотрится вполне человеком — по крайней мере, если судить по одежде... Сюртук, галстук либо платок, повязанный поверх воротника; ботинки или же начищенные сапоги, на которых, однако, порой висят клочья земли... Черт его знает, где имеет обыкновение обретаться эта тварь... Я никак не исключаю, что это кладбищенская земля, ибо он чувствует падаль как никто другой...

Случается, впрочем, что Паук не желает являться непрошеным свидетелем в каком-либо осязаемом облике, и тогда вы можете различить одно только темное, как тень от грозовой тучи, пятно. Вас тут же окружает густая фиолетовая мгла, и если негодяю будет угодно, вы вовсе не выберетесь на свет божий...

Теодор Этцель слушал внимательно, слегка сдвинув темные брови. Лицо его было сосредоточенно, точно юноша решал трудную задачу.

Гофман замолчал и вторично коснулся рукой глаз.

— Бывает, однако, — заметил он спустя несколько мгновений, — что Паук является и в своем настоящем обличье. И тогда вы, мой друг, удостоитесь созерцать преотвратительные мохнатые лапы и острейшие челюсти, которыми он прокусывает кожу жертве и впускает в несчастного яд... Говорят, — без паузы продолжал писатель, — что душа спящего человека может покинуть его благодаря усилиям этой отвратительной твари...

— Какая неприятная сказка, — глухо заметил Теодор Этцель.

— Сказка! — откликнулся Гофман с горечью. — Когда бы я был твердо уверен, что это сказка... Когда бы сам, в дыму сражения, не наблюдал, как проклятый Паук терзает умирающего, вытягивая из того душу и опутывая немощное тело липкой паутиной...

Гофман замолчал.

— Ничуть не сомневаюсь, — промолвил он спустя время, — что на бульваре, под деревьями вы сделали свидетелем явления моего соглядатая. Эта тьма, эта фиолетовая туча... Я не говорил вам, но порой мне кажется, я даже уверен, что Дрезденский Паук не оставляет меня ни на минуту... Разве что ему вздумается устроить слежку за моими друзьями...

Теодор Этцель расправил плечи, юношеский взор грозно засверкал.

— Напрасно, — вымолвил он с достоинством, — проклятый темный гость рассчитывает устроить меня. Я готов постоять и за себя самого, и за тех, кто мне дорог!

Гофман мягко улыбнулся.

— Мой друг, — заметил он, — я примечаю в вас отрадные перемены. Ваша речь сделалась ярче, а порывы благороднее. Чему приписать эти возвышенные приметы?

— Вашим сочинениям! — не задумываясь, пылко вскричал молодой Этцель. — Они одни совершили то, что было не под силу моему довольно скудному воспитанию! Я, — добавил юноша доверительно, — порой и сам себя не узнаю...

— Так-так, — улыбаясь, выговорил Гофман. — Никак не думал, что сделаюсь воспитателем юношества. В сочетании с моим природным легкомыслием... гм! да с склонностью к употреблению спиртных напитков...

— Ах! — воскликнул Этцель. — Что мне до того, что ваши сочинения освещены пламенем пунша? Это только добавляет им божественного огня! Человеческое воображение, — выговорил юноша неожиданно суровым тоном, — устроено таким диковинным образом, что его питают самые разнообразные источники. Позволительно ли заметить, что иногда источник совсем ничтожен, — скажем, какая-нибудь глупая свекла, — зато ошеломителен результат!

— Так и есть, — согласился писатель. — Мы, сочинители, к несчастью, не брезгливы и кормимся из любого подвернувшегося корыта. Всякий добрый обыватель отвернет нос от низких предметов; ну а мы тут как тут! не только готовы подобрать то, что лежит под ногами, но также и возвысить непримечательный предмет, вознести его совсем в иные сферы. Мое невеселое детство — а я, дорогой друг, был совершенно одинок в те годы, которые принято считать счастливейшим временем жизни, — я многому научился тогда. Прогуливаясь в саду (не столько любуясь благодатной природой, сколько укрываясь от нотаций моего любезного дядюшки)...

— Линдгорста? — нетерпеливо вставил Теодор Этцель.

— Увы, нет. Имя моего кровного дядюшки было не Линдгорст, да и сам он был не знаменитым магом, как г-н Линдгорст; даже не тайным архивариусом... а обыкновенным кенигсбергским бюргером, угрюмым и в высшей степени утомительным. Так что мне более приходилось беседовать с самим собой, чем делиться первыми жизненными впечатлениями с окружающими. В то самое время я и заметил, что истинное воображение человека (огненное воображение, как говаривал позднее упомянутый вами г-н Линдгорст) не даст ему пропасть в глухом молчании и одиночестве. Всё, что ни окружало меня во время моих прогулок, делалось моими слушателями либо собеседниками! Попавший под ногу древесный корень глухо повествовал о темных земных недрах; загоревшаяся над поместьем первая звезда с воодушевлением рассказывала об одинокой принцессе, которую суровый отец — великий маг Лотос — приговорил к изгнанию из родимого дома и поместил на безымянную звезду.. Ну а ежели я оказывался среди прелестей деревенского огорода, то простодушные овощи, вызревающие на грядках, также охотно включались в общую природную болтовню! Они, правда, были немного ворчливы и, пожалуй, вульгарны — как и надлежит простолоудинам; но, право, и от них я узнавал презанимательные истории. Среди этой огородной публики я видел те же характеры, что и среди крикливых базарных торговцев. Иные, правда, отличались чрезмерно мстительным нравом — как бы в ответ на обиду за свое низменное происхождение. Чего стоило, к примеру, мне знакомство с самолюбленной, выползшей из земли морковью...

— Что же? — спросил, замирая от любопытства, юный слушатель.

— Я оказался, — с улыбкой выговорил Гофман, — вовлечен в настоящую сеть обид, жалоб и интриг. И все потому, что упомянутая морковь вообразила себя принцем огородного царства и требовала к собственной особе повышенного внимания и разнообразных привилегий.

— Подумать только: принц! — вставил пораженный Этцель.

— Вот именно. Но ни капризы, ни вздорный нрав многочисленного народа, окружающего меня вне стен ненавистного темного дома, в котором проживали мои кровные родственники, не могли убить моего горячего внимания

и жадного интереса ко всему, меня окружающему. Да даже и дома, в узкой комнате с кроватью, глухо занавешенным окном и одинокой свечой на столике, я находил собеседников. Довольно скоро выяснилось, что пламя свечи охотно подчиняется настроению хозяина комнаты; оно чутко и доверчиво и к тому же также не прочь поболтать...

— История Золотых змеек?! — вскричал Теодор Этцель.

Гофман кивнул головой.

— Очень может быть, — ответил он. — Но мы, дорогой друг, увлеклись беседой. В то время как ваша последняя встреча с моим преследователем навела меня на одну — быть может, неожиданную — идею...

— Если требуется помощь... — начал молодой Этцель.

— Да, — помолчав, сказал Гофман. — Требуется помощь. Я предлагаю сыграть в занимательную игру. «Убийца и сыщик» — слышали?

### ВИГИЛИЯ СЕДЬМАЯ, *повествующая о сыщике и убийце*

Читатель наверняка помнит о ненавистном «государственном стойле», об этом многократно проклинаемом Гофманом ярме, которое было не что иное, как государственная служба и от чего — по ряду существенных причин — писатель не желал отказываться почти до самой своей кончины. Более или менее стабильное материальное положение, обеспечиваемое этой службой, — только одна из причин. Гофман был успешным юристом; и конечно, был бы еще успешнее, когда бы не грех сочинительства и не прочие разнообразные таланты, которыми Господь наделил Берлинского рассказчика. Так или иначе, Гофман служил и, надо повторить, весьма ревниво относился к собственному карьерному продвижению. Иногда кажется, что это была подлинная ревность художника, ну а служба — одно из созданий неутомимого сочинителя... Одно из самых диковинных его созданий, возможно...

Нелюбимая профессия юриста никак не делала Гофмана случайным человеком в мире юриспруденции. Напротив — многочисленные свидетельства представляют нам его как исполнительного, корректного и проницательного чиновника. «Меня захлестывает действительность!» — пишет Гофман другу. Любопытно: жалуется или благодарит судьбу? «Я чувствую, что поднялся над мелочами... вокруг мерцает и сверкает мир, полный магических явлений» (также из письма другу).

Следует заметить, что положение Гофмана, мечущегося между службой и музыкой, которая неукротимо прорывалась сквозь кабинетные стены, — многократно менялось. Победы на нелюбимом поприще чередовались с выговорами и маячившей отставкой; на смену стабильному положению приходили унижительная нужда и темное отчаяние. Но — позволительно задаться вопросом — не потому ли такой прочностью обладали прихотливые мечты художника и музыканта, что были щедро удобрены мусором и отчаянием подлой реальности?

Погода за окном поменялась. Сухая, ясная и прохладная осень покинула берлинские улицы; теперь даже днем они были полны раннего сумрака и дыхания близкой зимы с ледяными дождями и бурями. Первые капли уже тяжело падали на покатые крыши, их стук, слышимый из комнат, наводил на мысль о неумолимом маятнике часов, отстукивающим время. Низкие фиолетовые тучи летели над городом, бульвары которого стремительно пустели. Горожане спешили укрыться в собственных квартирах либо в приветливых погребках, чтобы укрепить свой дух горячим пуншем либо крепким темным пивом. Жаровни, на которых вертели свиные колбаски, распространяли уютный манящий запах; в каминах свирепо вспыхивали искры, к Берлину приближались зима и Рождество — сказочное, веселое, сытое, темное, неистовое.

Было только четыре часа дня, но сумрак стремительно приближался.

Два человека, закутанные в плащи, шли довольно быстрым шагом по пустынному бульвару и обменивались редкими замечаниями.

Первый был высок и строен, чего не мог скрыть и длинный плащ; ну а второй мал ростом и необыкновенно подвижен. Изящество в движениях было настолько заметно, что наблюдатель мог бы принять неизвестного в плаще за учителя танцев либо циркового актера.

Двое гуляющих были известный сочинитель Гофман и его молодой друг Теодор Этцель. Они направлялись к Погребку Лютера и Вегнера; торопились же по случаю пронизывающего до костей ветра и потребности поговорить в одиночестве (либо — в пестрой толпе, что, по мнению Гофмана, было одно и то же).

— Дорогой господин Гофман! — решительно проговорил Этцель, чуть запыхавшись от быстрой ходьбы. — Когда я читал о злоключениях студента Ансельма, то, поверьте, моим единственным стремлением было схватить тяжелый молот и расколоть проклятую банку, куда благодаря злой судьбе был упрятан этот достойный юноша!

— Не благодаря судьбе, — возразил Гофман, вскидывая голову и сверкнув глазами, — а лишь по вине собственного малодушия.

— Несчастный малый, — помолчав, заметил Теодор Этцель. — Жестокая, несоразмерная плата...

Писатель бросил угрюмый взгляд на своего собеседника.

— Никакая плата не бывает несоразмерной, — выговорил он назидательно. — Все обеспечено нашими собственными поступками... и сомнениями...

Было видно, что писатель внезапно помрачнел. Неизвестно, однако, чем бы закончилась увлекательная беседа, поскольку спутники оказались прямо перед входом в знакомый Погребок. Внутри было довольно сумрачно и тихо; ранний для посетителей Погребка час объяснял эту тишину и сумрак (свечи были зажжены через одну и озаряли небольшим пламенем помещение).

Заняв столик у занавешенного бордовой шторой окна, спутники, не проявляя нетерпения, принялись дожидаться хозяина. Оба молчали, но было видно, что настроение их различно: в лице юноши читались нетерпение и решительность; ну а Гофман словно пребывал в сомнении и угрюмом раздумье.

Принесенный пунш, впрочем, отчасти развеял напряженное молчание.

— Вы говорили, господин Гофман, о сыщике и убийце. Намеревались посвятить меня в правила неизвестной игры... Могу ли я — прежде чем вы приступите к рассказу, — сделать признание, которое, возможно, отвратит вас от мысли прибегнуть к моей помощи?

Гофман, сделав несколько глотков из сверкающего фиала, в задумчивости наклонил голову.

— Вот как, — заметил он. — Признание? Ну что ж...

— Дело в том, — быстро выговорил молодой человек, — что я не тот, за кого вы меня принимаете. Вернее, теперь я совершенно и полностью ваш друг! Но в самый первый момент нашего знакомства я был нарочно приставлен к вам со специальной целью.

Губы Гофмана слегка скривились.

— Неужели, — вымолвил он, — вам было поручено выкрасть мои карикатуры? Но в этом, право, нет никакой надобности: любой завсегда этого Погребка выдаст вам — за скромную плату — целую пачку моих рисунков — на листах блокнота, салфетках или даже на скатерти! Вы напрасно потеряли время, мой друг.

Глаза юноши блеснули, он сжал руки.

— Прошу вас, господин Гофман, выслушайте меня. Я вовсе не шпион — теперь, сейчас, по крайней мере. Не шпион и никогда более им не стану, ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что, будучи младшим помощником старшего делопроизводителя...

— Как-как? — вскричал Гофман и разразился адским хохотом. — Младшим... Старшего... Охо-хо!

Теодор Этцель горестно свел брови.

— Понимаю, — сказал он глухо. — Я смешон и отвратителен. Но это, — твердо прибавил он, — не изменит моего решения открыть вам всю правду. Я был приставлен к вам, господин Гофман, как соглядатай. Мое задание заключалось в том, чтобы выведать — путем тесного знакомства с вами, — существует ли на самом деле волшебная страна Атлантида — или она есть только плод вашего воображения. Если это только фантазия, то вас надлежало привлечь к ответственности за то, что вы морочите добрых людей мечтами о несбывшемся... Ну а если такая страна и впрямь существует — мне следовало разузнать туда дорогу..

Последние слова молодой человек произнес упавшим голосом, совсем тихо. Гофман не сводил с лица собеседника пронизательного взгляда.

— Что же? — спросил он глухо. — К какому заключению вы пришли?

Теодор Этцель вскинул голову.

— Такая страна существует, — твердо и довольно громко объявил он. — Я не имею в этом ни малейшего сомнения. Прочитав ваши сочинения, я понял, что Атлантида — такая же реальность, как бульвар, по которому мы с вами шли сегодня, подставляя лица дождю и ветру.

— За чем же дело? — усмехаясь, спросил Гофман. — Доложите своему начальнику, что вы справились с заданием. Остается лишь заставить меня открыть дорогу в волшебную страну!

Молодой человек горестно покачал головой.

— Даже если бы я мог узнать этот путь — то и тогда нипочем бы этого не сделал. Это такая дорога... такой маршрут... который открывается не всякому и уж никак не предусмотрен для нашествия государственных служащих. Атлантида не загородная дача.

— Да вы и впрямь поумнели, мой друг, — рассеянно вставил Гофман. — Неужели благодаря моим сочинениям? Какая лестная надежда!

— Это так, — возразил Этцель. — Ваши книги, дорогой учитель, полны скрытого смысла и чрезвычайно поучительны. Чего стоит, к примеру, история Саламандра? А борьба за драгоценный оникс у гроба батюшки, так что покойный, осердясь, даже вылез из упомянутого гроба? Все это полно иносказаний и назидательности...

— Вы думаете? — спросил Гофман и вдруг засмеялся беспечным смехом. — Ну что ж, ну что ж...

— Наверное, скоро я лишусь работы, — продолжал довольно равнодушно Теодор Этцель. — Но нищета не страшит меня. Я силен и молод...

Гофман движением руки остановил поток юношеского красноречия.

— В этом, мой милый, нет никакой необходимости. — Господин Инквизитор (а это он, верно?) приставил вас ко мне в качестве шпиона. Давайте ответим ему тем же. Вам только и нужно будет сделать вид, что задание идет потихоньку к завершению; и что — не ровен час — дорога в Атлантиду откроется его инквизиторскому оку!

— Но зачем? — вскричал Теодор Этцель.

— Тайна, — помолчав, сказал Гофман, — имеется не только у вас. Теперь моя очередь сделать признание.

Тайный советник Губиц слабо поддавался постороннему внушению; наоборот — сам стремился повелевать сердцами. Однако мечта, овладевшая им вполне, росла и крепла в темной душе тайного советника. Это была мечта о волшебной стране — покауда недоступной, но манящей и привлекательной. Г-ну Губицу даже казалось, что упомянутая страна (Атлантида) вполне могла бы стать успешным завершением блестящей карьеры. Она представлялась ему чем-то вроде превосходно устроенного загородного имения, где заслуженный человек (подобный ему, Губицу) проживает на всем готовом до самой смерти...

Атлантида, напряженно размышлял тайный советник, — это почет и богатство, беспечность и твердые гарантии. Что за твердые гарантии, Губиц в точности не знал; предполагал лишь, что всякий житель Атлантиды отгорожен от забот и неприятностей; что его персона является объектом неустанной заботы многочисленных и неутомимых помощников — всей этой орды фей, магов, эльфов и прочих — по совести говоря, несуществующих — персонажей.

Тут надо заметить, что тайный советник весьма ревниво лелеял свою заветную мечту. Никому из подчиненных (исключая одного лишь Теодора Этцеля) он не открыл тайных мыслей. Мечта сидела внутри тайного советника и буквально распирала его, так что иные сослуживцы озабоченно поглядывали на омраченное чело г-на Губица. Кое-кто даже вообразил, что у тайного советника разболелся зуб.

И вот когда в один прекрасный день молодой Этцель появился в высоком и темном кабинете, где не сразу можно было разглядеть крошечного Губица, тот встретил юношу злобным взглядом и сердитыми упреками.

— Легкомыслие! Безответственные фантазии! Юношеская вздорность и ничего более! — упреки так и сыпались из уст одичавшего в одиночестве тайного советника.

Теодор Этцель выслушал поток горьких сетований сдержанно и с достоинством.

— Г-н тайный советник напрасно сердится, — заметил он, когда поток жалоб иссяк. — Я вовсе не пребывал в праздности и беспечности. Наоборот — расследование тайных обстоятельств завело меня так далеко, что — настал момент — я даже не был уверен, что сумею вернуться обратно и дать о своих действиях подробный отчет вашему превосходительству.

— Вот как? — озадаченно молвил тайный советник. — Моему превосходительству? Гм, гм!

— Дело, которое поручили мне вы, г-н тайный советник, — без запинки продолжал Теодор Этцель, — оказалось темным и запутанным. Как вы, ваше превосходительство, и предполагали... Г-н сочинитель Гофман — лишь одно звено таинственной цепочки.

Тайный советник слушал очень внимательно. Его длинные пальцы сами собой скрючились и бегали по поверхности гигантского стола, почти совсем скрывавшего крошечную фигурку. Теодору Этцелю даже показалось, что два проворных паука перебегают с места на место и выбирают невидимую жертву. Молодой человек вздохнул. Роль тайного агента совсем не нравилась юноше. И только мысль о грозной опасности, которая нависла над его учителем и другом Гофманом, вынудила его принять участие в плане писателя. Этцель понимал, что и Гофман — против воли и от отчаяния — затеял эту темную игру.

— Мне теперь почти с точностью известен адрес, — понизив голос и с едва приметным вздохом проговорил Теодор Этцель. На крохотного, задрожавшего за своим столом Инквизитора он старался не смотреть.

— Да! Это так! — повторил молодой человек. — Обыкновенная квартира — с виду квартира человека, находящегося на службе. Но квартира эта не совсем проста, — вдохновенно повествовал Теодор Этцель, изумляясь собственной фантазии. — В ней имеется одно особенное окно...

— Окно? Вот как? Что же, посетители волшебной страны совершают свои эволюции через окно? Куда как странно!

— Странно — но не для них! — Теодор Этцель определенно был охвачен вдохновением; слабый румянец лег на его щеки. — Это окно устроено таким диковинным образом, что всякий подошедший, вволю налюбовавшись диковинными видами, должен всего-навсего вдохнуть поглубже да зажмурить глаза... И в ту же минуту — верьте мне, ваше превосходительство! — прямо очутится на спине у белоснежного животного, именуемого Единорогом...

Тайный советник нахмурился, фыркнул и с раздражением произнес:

— Верхом на Единороге? Несмотря даже на высокий чин?

Теодор Этцель бросил на тайного советника косвенный взгляд.

— Чей высокий чин, ваше превосходительство?

— Я говорю о себе, любезный!

Молодой человек вздохнул.

— Тут вы можете быть совершенно спокойны, ваше превосходительство! Этот Единорог привык носить на своей спине исключительно высокородных всадников. Последний раз — если вам интересно — верхом на белоснежном животном совершал прогулку гость из Лапландии, великий маг и к тому же князь по имени Бетельгейз! Это имя, — подумав, добавил молодой человек, — было дано князю при рождении в честь звезды Бетельгейзе, которой выпала честь родиться одновременно с князем.

— Бе... тель... — тяжело ворочая языком, повторил тайный советник Губиц. Язык вдруг словно перестал повиноваться ему, а глаза затуманились. Сделав над собой усилие, г-н Губиц произнес:

— Пора переходить к делу. Называй проклятый адрес и проваливай отсюда! Ты совершенно сбил меня с толку.

— Нечему удивляться! — дерзко встрял в речь тайного советника Теодор Этцель. — Точно так бывает со всяким первопроходцем, явившимся без приглашения в Атлантиду. Он стоит точно столб среди чудес и диковин и только водит вокруг диким взором. Вот как вы сейчас, ваше превосходительство господин тайный советник!

— Адрес! — прорычал Губиц. Руки его совершенно скрючились и царапали блестящую поверхность стола; маленькое личико свела судорога.

— Ваше превосходительство, — спокойно выговорил Теодор Этцель — я охотно назвал бы вам нужный адрес и даже сам проводил до места — но должен и обязан предупредить: как только вы переступите порог дома, так окажетесь в лапах чудовища, для которого нет ни чинов ни званий и который — верьте моему слову! — не пощадит ваше превосходительство, даже с учетом многочисленных заслуг вашей милости перед любезным нашим отечеством!

Тайный советник прикоснулся скрюченной лапкой к своему помертвевшему лицу.

— Чудовище? Не пощадит? — отрывисто произнес он. — Ничего не понимаю.

— То-то и оно, ваше превосходительство. Дорогу в волшебную страну Атлантиду — прекрасную почти настолько же, насколько благословенно наше дорогое отечество! — сторожит проклятое чудовище — гигантских размеров Паук. Есть единственный способ достигнуть цели — убить проклятую тварь.

Тайный советник вскочил, дрожь, точно молния, пробежала по маленькому телу.

— Я убью его! — прорычал он. — Сделаю распоряжение — и от мерзкого насекомого не останется ни волоска!

Продолжая кричать и бесноваться, тайный советник Губиц метался по собственному своему кабинету, укрепляя молодого Этцеля в мысли, что безумие — как и ум, и талант — может принимать многочисленные и разнообразнейшие формы.

## ВИГИЛИЯ ВОСЬМАЯ,

### *продолжающая рассказ о сыщике и убийце*

Некоторые совершенно ошибочно воображают, что могущественный чиновник рождается на белый свет в том самом виде, в котором впоследствии предстает пред глазами своих подчиненных. Это совершенно не так. У всякого закованного в латы долга чиновника имелось (хотя в это и трудно поверить) детство, невинные игры и забавы. Впрочем, в то время когда иные младенцы забавляют себя куклами и оловянными солдатиками, у будущего великого охранителя государственных основ замечались совершенно другие



развлечения. Так, маленький Фридрих Вильгельм Губиц (а сейчас читателю предстоит совершить усилие и вообразить великого Губица младенцем) имел особенные пристрастия. У него также была любимая игрушка — но никак не такая, какая обычно радует младенцев в их первой поре. Фридрих Вильгельм Губиц дрессировал кожаный кнут и даже достиг в этом удивительном ремесле таких успехов, что счастливые папаша и мамаша Губицы только и могли, что в тихом ликовании сжимать друг другу руки да проливать счастливые слезы!

В руках маленького Губица кнут действительно вел себя прилежно и в высшей степени послушно. Он извивался, юлил, стелился, а также изгибался и со звонким шелчком прохаживался по спинам воображаемых врагов, в роли которых выступали попеременно то домашняя утварь, то ни в чем не повинные садовые растения. Иногда доставалось и великолепному домашнему коту Клаусу, который, возможно, первым оценил способности хозяйского сына и смотрел на него из темного укрытия со смешанным чувством презрения и жалости.

Вскоре кнут сделался главным товарищем детских и юношеских упражнений молодого Губица. Подтягиваясь на цыпочках (ибо Господь не дал будущему тайному советнику роста, заменив внешнюю успешность внутренним фиалом яда, — если верить выражению одной писательницы, сделанному правда, по другому поводу); итак, подымаясь на цыпочки, маленький Фридрих Вильгельм совершал ежедневный обход помещений родимого дома и окружающего дом сада. Там он ревниво и пристально оглядывал всё, что ни являлось ему навстречу. Маленького Губица несколько раздражало, что предметы и растения не прячутся от его сверкающего взора, а стоят, как и стояли, на прежних своих местах. Сам себе Губиц представлялся могучим и грозным рыцарем, явившимся в мир с единственной целью: повергнуть все живое и неживое ниц! Растоптать всякую ропущую букашку! Ухватив маленькой дланью верный кнут, Фридрих Вильгельм бросал вокруг себя пылающие взгляды. Мать и отец, взирая на эти детские забавы, лишь в умилении качали головами, да, случалось, отец со сдержанной гордостью примечал:

— Какая прыть! Какие достойные порывы!

А матушка присовокупляла:

— Голубиная душа... Кристалл!

По дому неслись хищное шелканье кнута да свирепые окрики подрастающего младенца.

Со временем Губиц, превратившийся из младенца в отрока, сделал привычку разговаривать с собственным кнутом точно так, как если бы этот кнут был живым, одушевленным предметом. Юный Фридрих Вильгельм обращался к кнуту таким образом, словно кнут было не имя нарицательное, а имя собственное: Кнут. Он говорил, подражая речам взрослых и окрашивая свои замечания повелительными интонациями:

— Любезный Кнут, дело за вами!

Либо говорил просто:

— Кнут, за дело! — точно обращался к старому боевому товарищу.

Впрочем, этой достойной дружбе была суждена довольно бесславная гибель.

Произошло это прискорбное событие, когда возмужавший Губиц решил — впервые — выйти за крепкие ворота родимого дома и посетить ближайшую пивную. Надо ли говорить, что во время прогулки его сопровождал верный товарищ — Кнут?

Отчаянно сверкая глазами и грозно хмурия тонкие брови, маленький Фридрих Вильгельм Губиц вступил под своды шумной пивной. Гомон, хохот, стук кружек да дым из курительных трубок бросились в глаза посетителю. Шумное собрание студентов, праздновавших какой-то свой день (быть может, даже день Святого Патрика, покровителя студентов, ибо дело происходило как раз весной), раздражительно подействовало на молодого Губица. Решительно

никто не приметил ни его горделивую осанку, ни огненный взор; даже Кнут остался незамеченным и покорно лежал у ног своего господина, дожидаясь привычного окрика либо иной команды.

Благородный гнев закипел в душе Губица. Зубы его заскрежетали, а из губ вырвалось шипение, напоминавшее свист напуганной гадюки. И уж совсем готовы были вырваться гневные речи...

— Невежи! — готов был крикнуть Губиц невоспитанным студентам. — Дерзкие мужланы! Или вы ослепли и не видите, что перед вами человек, достойный всяческого уважения?! Или вонючий дым из ваших трубок настолько искажает реальность, что вы не заметили даже, что я не один?! Вот мой Кнут — верный слуга, покорный раб. Одного моего слова довольно — и от всей вашей пестрой компании не останется ни пуговицы!

Эти или подобные слова — повторяем — готовы были слететь с побелевших губ молодого Вильгельма Губица. Но ярость и бешенство до такой степени охватили посетителя пивной, что — вместо слов — из уст его лилось только шипенье и бульканье. Они, впрочем, были настолько выразительны, что посетители пивной наконец-то заметили маленького Губица.

Раздались громкие, нестройные и веселые голоса:

— Эй, глядите! Что за малый топчется у входа и булькает, точно кофейник в Погребке?

— Да и пар из него валит изрядный...

— Друзья, да он не ровен час лопнет! Вон как надулся, Господи, помилуй!

— Будет вам насмеяться. Это, наверное, погонщик скота — вон у него кнут. Пришел отдохнуть после честных трудов...

Заслышав про погонщика скота, несчастный Губиц наконец сладил со своим волнением. Он разлепил тонкие губы и выкрикнул что было мочи:

— Молчать! Кнут, за дело! Проклятые крикуны, которых следует проучить!

И с этими словами маленький Губиц взмахнул кнутом — но, к несчастью, так неловко, что опрокинул кружку пива с соседнего столика прямо себе на атласные фиолетовые штаны!

— Эге! — с удивлением проговорил кто-то из посетителей. — Да малый, похоже, спятил.

Одновременно с этими словами кто-то подошел к Губицу со спины и крепко ухватил того за воротник, так что Фридрих Вильгельм Губиц, вместе со своим кнутом, забултыхались в воздухе...

— Ко мне! Ни с места! — продолжал выкрикивать маленький Губиц.

— Оставь его, дружище! — раздались голоса. — Ты разве не видишь, что малый не в своем уме?

— Да и потом: с каких это пор ты, мой друг, обижаешь наших меньших братьев? На мой взгляд, это не более чем образец человекоподобной обезьяны, размеры коей не велики, но злобный нрав превышает строптивость иных ее собратьев. Я слышал о том, что пару экземпляров завезли к нам в Германию из заморских стран, — только позабыл латинское наименование этого чуда.

— О! Верно, верно! — раздались голоса. — Человекоподобная обезьяна!

— Но — взгляните, господа! — обезьяна, немного напоминающая физиономией крысу! Обыкновенную, известную в наших широтах крысодомушницу...

— Это так. Крысы воинственны и трусливы. Гляди, как он дрожит, и отпусти его, ради бога!

— Ладно! — великодушно произнес тот, кто продолжал стискивать рукой воротник несчастного Губица. — Пускай убирается восвояси.

С этими словами Губиц был отпущен и, получив несильный пинок под зад, выдворен прочь вместе со своим кнутом, тут же разжалованным рассвирепевшим Губицем в обыкновенный кусок старой кожи и, соответственно, лишившимся имени собственного.

— Проклятый трус! — прошипел Губиц, потирая зад. — Так-то ты служишь своему господину?!

И он в ярости бросил кнут на землю и принялся с ожесточением втапывать его в пыль. Sic transit Gloria mundi.

Известие о таинственном Пауке, преграждающем путь в волшебную страну, мгновенно и полностью овладело мыслями тайного советника. Не отличающийся доверчивостью Губиц поверил в могущественного врага по той, надо думать, причине, что давным-давно ждал чего-то подобного. Иначе говоря, ему требовался настоящий, злонамеренный, могучий и безжалостный враг, победа над которым могла бы принести славу и самоуважение. Ей-богу, иногда тайный советник остро сожалел, что нынешние времена оскудели и более не оставили героям настоящих противников, соразмерных драконам либо великанам. Правда, было не очень ясно, как намеревался он, Губиц, сразаться с подобным воинством; но реальность не всегда согласуется с мечтами победителей. А г-н Губиц видел себя исключительно победителем!

«Восхищение и трепет!» — твердил, точно заучивал урок, тайный советник. И грезил, как, оседлав непокорного дракона, он взмывает над апелляционным судом, а прочие — оставшиеся внизу маленькие чиновники — вздымают кверху руки и бормочут невнятные, но восхищенные речи. «Дракон это будет не простой, — твердил, погружаясь в романтический бред, тайный советник. — Это будет боевой дракон, повергающий в прах! Он, господа, оставляет после себя одни лишь руины да слабый дымок над пепелищем — вот что за дракон! Это вам не маломощный кнут его печальной юности... Это! Это!» — повторял Губиц, вдруг впадая в меланхолию. Причина названной меланхолии была проста. Г-н Губиц внезапно понял, что никакой власти над драконом у него нет, нету и самого дракона... А есть — увы, увы! — только глупые фантастические бредни, которыми, надо думать, он заразился от проклятого Гофмана, чье сложнейшее дело он распутывал последние месяцы. Идя по темному лабиринту, Губиц, видать, сам сделался жертвой этого лабиринта! И вот — извольте видеть! — грезит наяву! Увы, увы!

В нетерпении тайный советник схватился скрюченной лапкой за бумаги, подшитые в толстое дело. Теперь в деле появились новые, помимо Гофмана и его собутыльников, действующие лица... Некто именующий себя Пауком (Дрезденским Пауком). Возможно, сведя брови, размышлял тайный советник, Дрезденским он именуется по той причине, что кто-то из его родственников проживает в упомянутом городе? Быть может, там живет шурин Паука либо его тесть? «Что я говорю? — тут же всполошился тайный советник. — Какой шурин может быть у насекомого?! Определенно, неся бремя государственной службы, я лишился рассудка! Но как же, однако, разъяснить проклятого Паука, который стал на моем пути в Атлантиду и лишает меня (меня!) законных привилегий? Его придется уничтожить, будь он хоть тысячу раз насекомое».

К такому здравому выводу пришел тайный советник Губиц и с треском потер сухие ладони.

Теперь надо открыть одну тайну, которая имелась у г-на Губица. Дело в том, что тайный советник, носящий имя Великий Могол от юстиции либо просто Инквизитор, получил эти лестные наименования лишь благодаря собственным усилиям и усердным и хлопотам. Заступив на должность, г-н Губиц чрезвычайно озаботился тем, чтобы внушить своим подчиненным надлежащий трепет, зажечь в их сердцах восторг и робость. Однако — с учетом некоторых обстоятельств — г-н Губиц довольно слабо преуспел в этом начинании. Конечно, подчиненные исправно выполняли поручения Губица и даже демонстрировали все необходимые знаки почтения. Но — чувствовал тайный советник — подлинного восторга, преклонения в их сердцах было маловато... Иные даже смотрели на Губица как на *малую, но вредную букашку!* Посмотрят, ревниво отмечал тайный советник, шаркнут ножкой и тут же поскорей утрут-

ся платком, будто измазались в какой-то вонючей субстанции! Эти наблюдения терзали ревнивого Губица, и вот тогда-то, среди государственных забот, тайный советник изыскал время на *создание собственной легенды!* Опираясь на самых верных и преданных, Губиц принялся распространять слухи о своем невероятном (тайном) могуществе; о гигантской проницательности и вездесущности; о том, что попавшие к Губицу в немилость жестоко раскаются в своей беспечности. Эти и подобные реляции г-н Губиц сопровождал тем, что распространял собственные свои (несуществующие) псевдонимы. Так на свет божий появились Тайный Могол от юстиции и Инквизитор...

Прозвища, хотя и не сразу, прижились; ну а за г-ном Губицем постепенно укрепилась слава человека не то что опасного, но такого, с кем лучше дела не иметь. Держаться подальше и почаще мыть руки — вот и всё.

Сам же тайный советник не останавливался на достигнутом. Прячущиеся от него подчиненные сладко грели душу Губица; в тайном советнике крепло чувство, что его мечты осуществляются; что все кругом оценили его ум, проницательность и беспощадность. Пребывая в совершенном одиночестве в собственном своем кабинете, г-н Губиц видел себя не только верхом на драконе; его стеклянный взор вспыхивал, представляя, как он, Губиц, повергает в прах целые царства, осмелившиеся стать на его пути; народы лежали ниц...

Конечно, Губиц и сам чувял, что мечты занесли его совсем уж в отдаленные сферы. Но тайный советник никак не мог остановиться... В минуты просветления, впрочем, он ясно понимал, что есть люди, которые воспринимают его, Губица, несмотря на все его величие, как презабавную карикатуру на человека... И эта насмешка ранила тайного советника сильнее всяких интриг и доносов! Притом что имя насмешника было хорошо известно: сочинитель Гофман. Тот самый Гофман, который, кажется, вовсе не был знаком с г-ном Губицем, но отчего-то так упорно изображал его в своих сочинениях как ретивого и бессильного глупца! Как полное ничтожество!

«Что же, — думал Губиц, и взор его загорался злобой, — посмотрим, кто из нас чего стоит. Ты придумал Атлантиду, ну а жить в ней стану я! Как тебе это понравится?»

Терзаемый сомнениями тайный советник усердно отдавал распоряжения.

По темным ноябрьским улицам заскользили закутанные в плащи, почти невидимые фигуры. Это были шпионы тайного советника, стремящиеся напасть на след неуловимого Паука.

### **Вместо лирического отступления: как шпионы пытались изловить паука**

Первый шпион, к несчастью, оказался немного бестолков. Ему представлялось, что назначение его шпионом уже само по себе вооружает его силой и ловкостью, о которой он слышал из рассказов товарищей. Закутавшись в плащ и исполнившись гордости, соглядатай, не прячась, двинулся по пустынной улице. Он бросал горделивые взоры туда и сюда, выглядывая, не видно ли где-нибудь перепуганного Паука. У него уж была наготове команда: «Именем закона вам велено сложить оружие и сдаться на милость победителя!» Сам ли он изобрел эту команду или вычитал в каком-нибудь бульварном романе, неизвестно; но только этому шпиону чудилось, что Паук, слышав подобную реляцию, тут же упадет на колени и начнет вымаливать пощады.

Время от времени, оказавшись в свете уличного фонаря, соглядатай вытаскивал из кармана листок с приблизительным изображением врага (поскольку точных сведений о том, как выглядит Паук, у тайного советника Губица не было). В этом изображении, надо отметить, имелись некоторые противоречия. Так, на портрете был изображен господин с несколькими мохнатыми тонкими лапами, но в круглых очках и сюртуке. С любопытством разглядывая картинку, шпион ухмыльнулся: как же, позвольте спросить, этот господин протирает очки этакими лапами? Это определенно улика, свидетельствую-

щая... Тут соглядатай задумался и думал довольно долго; все никак не мог решить, о чем же свидетельствует названная улика?

Со вздохами и восклицаниями листок с портретом Паука был уложен обратно в карман. А соглядатай, пронизывая взглядом темную ночь, двинулся далее.

И вдруг... О читатель! Представляю, как зажался ты подобного восклицания! Представляю и разделяю твое нетерпение...

И вдруг... шпион заметил нечто такое, что наполнило его сердце ликованием и торжеством! Под камнем мостовой, высвеченный лучом фонаря, прятался именно паук — надо думать, тот самый, за которым была объявлена охота! Этот, правда, был мал и имел полудохлый вид; лапы, впрочем, были мохнатые, ну а очков не было вовсе. Хотя, рассудил соглядатай, для чего в темноте очки?

С осторожностью достав из одного кармана листок с портретом (чтобы, не приведи Бог, не ошибиться), а из другого — широкий клетчатый платок, шпион приступил к главной части своего задания. Он ловко нагнулся и подхватил с помощью платка проклятого хитреца, который норовил укрыться под булыжником мостовой. Далее порученец действовал аккуратно и стремительно. Он завернул свою находку в платок и поглубже засунул в карман. И уж тогда — немного запоздало — выкрикнул: «Именем закона!» Хотя, повторяем, это было немного поздно: арестованный уже лежал в кармане и, кажется, не подавал признаков жизни. Быть может, его устрасил возглас закутанного в плащ шпиона — либо он просто сделался жертвой холодной ноябрьской ночи? Это неизвестно. Можно лишь с точностью сказать, что соглядатай, с чувством гордости и исполненного долга, мчался в апелляционный суд с докладом и дохлым пауком в кармане.

Второй шпион оказался разумом несколько крепче своего товарища. Этот уже не гонялся за дохлыми пауками, а вел следствие почти как настоящий разведчик. Чтобы не раскрыть свое инкогнито, он прикрывал руками голову, как бы сторожась какого-то непредвиденного налета сверху, и при этом зорко оглядывал улицы и бульвары. Каждый случайный прохожий был ревниво осмотрен, а иные даже подверглись как будто бы случайному столкновению; разыгрывая роль задумавшегося человека, шпион налетал на ту либо иную жертву и мгновенно обыскивал ничего не подозревающего человека руками. Он искал доказательства того, что, возможно, пред ним не кто иной, как Дрезденский Паук, укрывшийся под маской невинного прохожего. В конце концов по Берлину разнесся слух, что в городе объявился новый сумасшедший с навязчивой манией подвергать встречных и поперечных нелепому обыску. Горожане, впрочем, уверяли, что этот вид сумасшествия ничуть не опасен, разве что немного обременителен; и что кто-то якобы уж нашел способ, как избегнуть докучливого безумца: в самом крайнем случае следует просто влупить ему крепкий щелчок в лоб — и тот немедленно отстанет, отправившись на поиски следующего подозреваемого. Так оно почти и было, покуда в один прекрасный день поиски прыткого шпиона не завершились, на его взгляд, успехом. Прикрывая в целях конспирации руками голову, соглядатай подкрался к человеку в гуляющей толпе, показавшемуся ему подозрительным. Дело в том, что несчастный имел неосторожность носить плащ щучьего цвета и круглые выпуклые очки. Некоторое время наблюдатель кружил вокруг жертвы, то приближаясь, то отдаляясь от оной. Наконец дождался момента, когда неизвестный в щучьем плаще полез в карман, чтобы извлечь курительную трубку, и с криком: «Попался, нарушитель спокойствия!» — бросился на беднягу. Изумленный горожанин, предположивший, что, быть может, имел неосторожность закурить в неполюженном для сего действия месте, молча поднял руки. Но, приглядевшись поближе к ретивому шпиону, тут же признал в нем безумца, о котором толковал весь Берлин. Тогда, самую малость поразмыслив, он взмахнул пенковой трубкой и припечатал оную ко лбу преследователя. Гово-

рят, что, со звоном ударившись о крепкий лоб, трубка во лбу честного шпиона произвела небольшую вмятину, но и наделала немало бед: табак разлетелся во все стороны, так что даже попал в нос почтенной даме, прогуливающейся неподалеку. Вдохнув крепкий табак, дама вытаращила глаза и так оглушительно чихнула, что компания студентов, фланирующих развязной походкой мимо, разразилась громкими поощрительными аплодисментами, вспугнув стайку голубей. Впрочем, шум, хохот и поощрительные возгласы, вспыхнув, вскоре угасли; а незадачливый шпион с вмятиной во лбу продолжил свой путь к победам. Он чувал, что Дрезденский Паук где-то близко (и, между нами говоря, был прав!). Но вот как изловить негодяя, пока не выдумал.

Дрезденский Паук терпеливо дожидался возвращения Гофмана.

Проклятый писатель шлялся неведомо где и уже вторые сутки не показывался на глаза добрым людям. Его не видели ни в Погребке, ни в иных подобных заведениях; он не веселил своими рассказами ни одну веселую компанию, не потешал рисунками завсегдатаев пивных... Вообще эти рисунки (полагал Паук) вовсе не отличались приписываемым им мастерством; плоские по мысли, с отвратительно кривляющимися физиономиями... Можно подумать, они сделаны рукой школяра, а не знаменитого писателя, художника... Поистине все подлинно Великие отошли в тень и оставили после себя лишь жалкие подобия! Тот же Леонардо... О, разве он опустил бы до таких смехотворных гримас? Разве получал бы удовольствие от гнусных маленьких уродцев? Хотя, господа, Леонардо (будем уж откровенны) тоже нуждался в водителе... Великий мастер, а делал ошибки, как какой-нибудь недоучка-маляр... Достаточно взглянуть на его «Благовещение» (бр!). Рука Марии вывернута таким образом, будто кто-то нарочно подвергает беднягу пытке и выкручивает ее руку! Геометр, ха-ха! Это геометрия пыточной камеры (которая сама по себе, конечно, имеет бездну привлекательности)... И все они толкуют о совершенстве! Всем подай гармонию! Это, мол, и есть вечное блаженство... Но уж если толковать о гармонии, о геометрии (что, несомненно, одно и то же) — то восемь глаз (два смотрят вперед, четыре направлены вверх, а два обозревают то, что находится сзади), восемь длинных ловких ног (с особыми, заметьте, пучками волосков, помогающими проскользнуть по любой гладкой поверхности и даже ходить по потолку!); не говоря уж о гениальнейшем изобретении природы — паутине! — то какой, позвольте спросить, вам еще нужно гармонии? И не совершеннее ли эта Гармония, чем сама Вселенная (довольно хаотическое сооружение, между нами говоря)?

Дрезденский Паук, как и многие его собратья из паучьего племени, не был чужд философствованиям. К тому располагал его отчасти созерцательный образ жизни. Но помимо названной детали Дрезденский Паук имел возможность прильнуть к знаниям в своей ранней поре. Его счастливое отрочество пришлось на жизнь под потолком школьного класса, где, укрывшись в темном уголке, он неумоимо плел липкую паутину и волей-неволей прислушивался к наставлениям учителя. Из этих наставлений он понял не так уж много — зато, ставши зрелым пауком, рассудил, что теперь имеет порядочное образование и вполне может плести не только паутину, но и разнообразные суждения о смысле жизни и превратностях судьбы, о дивах искусства и обо всем прочем, о чем обычно распространяется добрый обыватель, если ему совершенно нечем занять себя после сытного ужина.

...Вокруг Гофмана (рассуждал Дрезденский соглядатай) последнее время так и кружит целая стая любопытных. Не считая того верного мальчишки, что вообще не отстает от писателя и смотрит — вот глупец! — прямо в рот этому бездельнику!

Дрезденский Паук, который по праву гордился своим здравым смыслом, вынужден был отметить, что и его, Паука, неприметная фигура начала последнее время притягивать посторонние взгляды... Что ж, это, господа, только

справедливо! Разумеется, сам Дрезденский Паук не тяготился одиночеством; но привлекать взгляды — удел того, кто выделяется из толпы! Кто на голову выше (выражаясь языком образов) рядовой серой массы... А уж он таков... Его огненный взор...

Внезапно раздумья Паука были прерваны. Случилось так, что замечтавшийся Дрезденский Паук едва не попал под чей-то отвратительный черный сапог! И хотя это почти невозможно вообразить (то есть именно вообразить существо с мыслями и философией — хотя и на уровне начальной школы, но все же с философией!) — и под чьим-то грубым сапогом!.. Но судьба, возможно, вдруг отвлеклась; сапог проскочил мимо, а Паук остался жив, хотя и дрожал от пережитого ужаса, — за что его никак нельзя осуждать. Всякий затрепещет, когда над ним маячит черный сапог!

Только спустя довольно продолжительное время Дрезденский Паук смог наконец вернуться к главной точке. Гофман — куда же он подевался? И могло ли стать, что чертов сочинитель ускользнул — неведомым путем — от своего неотступного проводника?!

Холодные капли пота уже давно высохли на паучьем лбу, когда кто-то бесшумной походкой приблизился к Дрезденскому Пауку и постучал того по плечу.

— Уважаемый! — расслышал Паук скрипучий отвратительный голос. — Не пора ли нам познакомиться, дорогой господин Паук? У нас имеется общее дело.

### **ВИГИЛИЯ ДЕВЯТАЯ,** *открывающая благосклонному читателю некоторые тайны волшебной страны Атлантиды*

Да будет известно читателю, что Атлантида (или Джиннистан) — это не только страна, реально существующая, но и — как таковая — обладающая собственной историей, географией, юриспруденцией и даже (хотя в это и трудно поверить!) — собственными правилами уличного движения! На этот последний счет читатель должен быть осведомлен особо: дело в том, что улицы столицы этой благословенной страны обычно довольно пустынно; по ним только время от времени проезжают кареты, запряженные единорогами либо дородными майскими жуками, но вдруг — в иные дни — когда всякое живое существо чувствует себя охваченным охотой к перемене мест — улица погружается в некоторый хаос: над ней кружат полчища бабочек, красующихся друг перед другом волшебными узорами на крыльях, промелькивают летающие рыбы, поражающие сиянием блестящей чешуи, да реют неправдоподобные фигуры, искусно притворяющиеся миражами... О, тут, само собой, возникает настоящая давка; прославленный маг Лотос снисходительно улыбается, глядя на столпотворение, над которым реет серебряный перезвон. Он называет это время *беспечными забавами* бесчисленных и бесконечно разнообразных жителей чудесной Атлантиды. Маг Лотос даже уверяет, что любит проводить в созерцании этих игр свой короткий отпуск длиной в каких-нибудь три-четыре столетия; но потом, когда надо приниматься *за дело* и отправляться в путь куда-нибудь в направлении Сириуса либо даже за пределы известной Вселенной, — о, и тогда он с легким сожалением покидает волшебный край!

Итак, любезный читатель, если тебе доведется очутиться на улице Атлантиды не в минуту благословенного затишья, а в разгар невообразимой суеты, презвонкого гомона и щебета, столпотворения бабочек и стрекоз, оседланных отважными крохотными всадниками, а также раздражительного *маленького народа*, который как раз пожаловал в столицу в базарный день и теперь путается под ногами, — ну и, конечно, *более крупных гостей*, чьи сапоги в полмили занимают целую мостовую, а головы не видать вовсе, ибо она скрыта набежав-

шим облачком, — о, тогда, любезный читатель, заклинаю тебя не зевать! Тут уж остается одна надежда на правила уличного движения! они, быть может, и не помогут — но надежда укрепит тебя! Ты не поверишь, благосклонный читатель, сколько наивных и беспечных гостей, случайно угодивших на улицы Атлантиды, потерялись и сгинули в чудесах и диковинах невообразимого царства! Я уже не говорю о тех, кто в полном смысле *потерял голову*! Потерял и ищет ее до сих пор... Добавлю, что, сочувствуя этим несчастным, иные из жителей волшебной столицы даже оказывают им посильную помощь. Так, были замечены молодые люди, совершающие прогулки по улице с тыквой на плечах, успешно заменяющей голову... Другой растяпа нес на плечах не тыкву, а арбуз! Что лучше? Неизвестно. Все зависит от вкуса. Но мы отвлеклись, любезный читатель! Тебе наверняка не терпится продолжить путь по дорогам Джиннистана!

...Существует несколько солидных теорий, описывающих происхождение Страны Фей. Если верить одной из них, эта страна обязана своим существованием дыму из курительной трубки маэстро Абрагама — старого чудака, не придумавшего ничего лучше, как раскуривать свою трубку прямо на балконе в воскресный день! И вот, пока добрые люди обсуждают вполголоса, отчего так взлетели цены на овес, старый чудака, зажмурившись от удовольствия, знает курит свою разлюбленную трубку да воображает невесть что! Ему мерещится синяя блестящая гладь морская (отчего? Ведь в своей последней жизни маэстро Абрагам ни разу не бывал на море! Однако, уверяет он, в прошлых жизнях ему доводилось, и не раз, стоять на носу фрегата, который был не фрегат, а сущий дьявол! О, твердит маэстро Абрагам, и трубка в его пальцах слегка подрагивает, — о, мы вспарывали морскую пучину, и она стелилась перед нами, точно шелковый ковер. Мы, прибавляя маэстро Абрагам, дошли до Полинезии и, собственно, открыли этот благословенный край).

Некоторые считают, что маэстро Абрагам обыкновенный обманщик. Несмотря на почтенный вид, он морочит людям головы, точно дешевый фокусник. Но это неверно. Маэстро Абрагам не дешевый, а очень дорогой фокусник! На его пальце горит сапфир, выполненный из вещества, добытого на планете Меркурий! А это, можете поверить, чрезвычайно дорогой материал. К тому же маэстро Абрагам говорит совершенную правду. Из дыма некоторых трубок в самом деле можно получить презанимательные кунштюки. К примеру — небольшую страну, затерявшуюся между высоких гор и затененную тенистыми купами деревьев. Там скользят серебряные ручьи, в чем любезный читатель может легко убедиться сам. Достаточно зачерпнуть из такого ручья воду и сделать только один глоток — как ты почувствуешь себя переполненным ликованием и жизненной энергией. Эта особенная вода стекает с горы Лунь, что расположена в далеком Китае и суть не что иное, как лестница, соединяющая наш темный мир и высокие нефритовые сферы.

Многочисленные исследователи Атлантиды — и это, быть может, самый удивительный факт — дают столь разноречивые показания, касающиеся природы таинственной страны и в особенности ее непостижимых свойств, что приходится удивляться: точно ли они не морочат нас, сознательно укрывая тайны недоступного мира?

Дело в том, что среди толкований и описаний Джиннистана иные — уж поверьте правдивому рассказчику — заставляют окаменеть от изумления... Таково, к примеру, сообщение одного в высшей степени просвещенного итальянца, который, по его заверениям, побывал в Атлантиде и даже вернулся оттуда обратно! Причем прославленный итальянец так и напирал на слово «вернулся» — как бы подчеркивая самую невозможность этого возвращения!

«Атлантида, — объявил он (объявил, надо добавить, в красивых возвышенных стихах, которые мы не станем приводить на этих страницах, ибо они, без сомнения, известны всякому просвещенному человеку со школьной скамьи), — итак, Атлантида — это не что иное, как царство смерти, из которого



нету возврата. Оно прекрасно и печально, и всякий смертный находит там ровно то, что искал, к чему стремилась при жизни его душа».

И вот этот итальянец поведаль, как бродил по долинам смерти, и множественные народы выходили ему навстречу, окутанные туманом собственной своей истории...

Признаться, в знаменитом рассказе таится, как нам представляется, немало путаницы.

Вот почему автор настоящей правдивой повести заверяет благосклонного читателя, что Атлантида, или Джиннистан, вовсе не царство смерти, а наоборот — царство истинной жизни — жизни в любви и творчестве! Потому-то просторы диковинной страны доступны не всем, а только избранным (чего никак нельзя сказать о царстве смерти). Да, Атлантида — страна не для всех. И при всей своей приветливости и красоте она вовсе не делается приютом для каждого странника... Феи и маги, населяющие ее с давних времен, так уж устроили, что наделили свою волшебную страну высоким и чутким разумом; и вот случайный посетитель, по какому-либо недоразумению очутившийся в этой Стране Фей, просто-напросто получает крепкий (волшебный!) толчок в поясницу — хотя и не приносящий очевидного вреда здоровью, но разом обучающий невежу не совать свой нос куда не просят! Таковы законы Джиннистана, и не нам с вами, любезный читатель, оспаривать то, что сложилось и утвердилось задолго до нашего рождения, в незапамятные блаженные времена.

В свете всего вышеизложенного планы тайного советника Губица проникнуть в Атлантиду могут показаться не только беспочвенными, но и, пожалуй, опасными. Губиц, впрочем (читатель, конечно, об этом не забыл), решил прибегнуть к помощи существа, имеющего, как ему казалось, отношение к сферам, недоступным простому человеку. Он вознамерился заключить союз с Дрезденским Пауком, приставленным к сочинителю Гофману темной судьбой...

Интересно, что Паук вовсе не показался тайному советнику существом, наделенным какими-то фантастическими возможностями. С некоторым неудовольствием и скрытой ревностью он отметил про себя, что Дрезденский Паук — самый обыкновенный паук, обладающий разве что более крупными, чем принято в природе, размерами и склонностью к человеческой речи... «Но что в этом необычного? — запальчиво рассуждал сам с собой тайный советник Губиц. — Вот я, к примеру, также наделен склонностью к человеческой речи; к тому же обладаю хотя и не высоким, но изрядным ростом. Никто, однако ж, по этим причинам не числит меня мистическим созданием!».

Г-ну Губицу почудилось, что он разгадал тайну Дрезденского Паука, а следовательно, — вполне получил над ним власть.

Испытывая гордость за свою проницательность и дальновидность суждений, г-н Губиц прямо обратился к Дрезденскому Пауку с предложением.

— Дорогой господин Паук! — произнес он, причем его от природы скрипучий голос на сей раз превзошел собственную природу и заскрипел в высшей степени отвратительно. — Дорогой господин Дрезденский Паук, я предлагаю заключить союз против маленького выскочки сочинителя Гофмана. Признаюсь, мне уже порядком надоел этот тип, который, несмотря на отвратительные свои кривлянья, так-таки не дает серьезных юридических оснований привлечь его к настоящей ответственности. Вы, дорогой друг, — насколько мне известно — также приглядываете за нашим поэтом... Гм, гм! Давайте же поступим так: учитывая, что вы, г-н Паук, *скорее всего*, обладаете доступом в *иные* сферы (тут тайный советник на минуту запнулся), — вы проследите за проклятым сочинителем и разузнаете, по какой дороге ходит он в одну страну, известную в глупейших сказках названием Джиннистан; ну а я, со своей стороны, под любым предлогом велю схватить Гофмана и тут же передам его в ваши руки. Клянусь! Как вам мой план, дорогой господин Паук?

Наступило молчание. Собеседник тайного советника холодно поблескивал невидимыми глазками сквозь круглые стекла очков. Он сидел, лениво и вальяжно развалившись в кожаном советниковом кресле, и молча слушал скрипучие высказывания Губица.

Наконец, выдержав солидную паузу, Дрезденский Паук разомкнул серые уста.

— Вы, сударь, отчасти путаете. По рождению и воспитанию я точно паук — хотя и не принадлежу прямо к этому мелкому племени. Мой батюшка носил благородную фамилию Паук и, естественно, передал ее мне — вместе с генеральским титулом...

— Ваше превосходительство! — вскричал потрясенный тайный советник, услышав про генеральский титул; но Дрезденский Паук остановил его рукой.

— Кто-то уверяет, что мои руки, — пожав плечами, продолжал Паук, — не что иное, как восемь мохнатых паучьих лап; и с презрением отворачиваются от меня. Но ни разу я не услышал объяснения, чем восемь лап хуже двух рук? Быть может, вы, сударь, объясните мне?

Тайный советник Губиц затрепетал. Маленькое личико побагровело, а руки мучительно скрылись.

— Ваше превосходительство правы... Да! То есть нет! При том что наши руки несовершенны... как и человеческая природа вообще... Тогда как восемь мохнатых лап — прекрасное изобретение природы! Проворные и умелые, эти лапы молча творят свое бессмертное дело...

Тайный советник от волнения и сам не знал, что болтает. Но строго судить его за этот лепет никак нельзя: перед ним ведь сидел генерал — пусть даже и генерал паучьего войска!

Чувствуя в голове небольшой гул, г-н Губиц внезапно затих. Он уныло свесил на грудь голову и, смежив очи, вдруг вообразил, что за ним явилась сама смерть, так что нечего и сопротивляться! Следует смириться; настала пора отдохнуть от служебных тягот...

Однако голос гостя разбудил тайного советника от мрачной грезы.

— Моя власть велика, — спокойно проговорил Дрезденский Паук, и низкое солнце сверкнуло в круглых стеклышках очков. — Мне ничего не стоит разделаться с сочинителем Гофманом — но на все имеется свой порядок. Я ведь не людоед (тут Паук усмехнулся) — чтобы ни с того ни с сего схватить первого встречного и засунуть того в мешок. А уж дома приготовить из дурака жаркое!

Губиц, как зачарованный, слушал отвратительные речи.

— Что же касается Гофмана, то он скоро перестанет беспокоить своими глупыми выдумками всех, кто по *эту* сторону *черты*!

— Черты? — шепотом повторил тайный советник.

— Вот именно. Для вас, конечно, не секрет, что все сущее в этом мире разделено на две половины чертой. Эта черта, кстати, видна довольно отчетливо; жирная черная черта, отделяющая все, что находится по *э т у* сторону, ото *все-го*, лежащего по *т у* сторону. Так вот Гофман стоит — если это вас утешит — в нескольких шагах от черной черты. В двух шагах. Мне хорошо известно, что сочинитель намерен от нас ускользнуть... Он замыслил бегство — естественно, в Атлантиду, которую считает своим истинным отечеством. Но ничего у него не получится. Могу вас уверить, эээ... тайный советник, что никакой Атлантиды на самом деле нет. Не существует. Это не более чем мираж, ревниво взлелеянный всякого рода бездельниками-фантазерами.

— Нету? — прошептал Губиц.

— Увы. Там, где, по мнению вашего Гофмана, лежит блаженная Атлантида, на деле валяются комья мерзлой земли.

— Почему же мерзлой? — еще тише примолвил тайный советник, почти физически ощущая, как волшебный край ускользает из рук.

— Потому что там вечный холод, — сурово ответил Паук, и неожиданная ухмылка пробежала по отвратительным губам. — Да, именно так: холод

и мрак. А небеса там, — подумав и продолжая ухмыляться, добавил Паук, — сплетены из легчайшей серой паутины, так что она, собственно, заменяет солнце, звезды, луну и прочие светила. Одна сплошная паутина. Ну, тайный советник, вы по-прежнему желаете очутиться в Атлантиде? Тогда вам остается просто переступить черную черту — и, считайте, вы на месте!

Тут адский хохот наполнил кабинет Губица, и невесть откуда повалили клубы черной пыли, источающей омерзительный смрад. В одну минуту кабинет наполнился тьмой, тайный советник схватился за горло и принялся кашлять, но с каждым вдохом клубы черного дыма плотнее заполняли внутренности тайного советника, пока несчастный не упал на пол, точно сраженный смертельным недугом.

Уже через час в кабинете не было и следа происшедшей катастрофы. Ни черной пыли, ни тем более дыма... Отсутствовал и таинственный гость тайного советника.

Единственное, что свидетельствовало о происшедшем, был сам тайный советник; он молча лежал скрюченный на полу; голова его была повернута таким образом, что мертвый взгляд будто высматривал что-то в квадратах потолка; что-то до такой степени ужасное, что заставило бестрепетного тайного советника навсегда удалиться от дел.

— Его превосходительство лежит, точно воин на поле отгремевшего сраженья! — с воодушевлением проговорил младший переписчик, первым наткнувшийся на тело. — Какая доблесть! Какая сила духа!

Прочие сослуживцы, однако, лишь молча пожали плечами, присовокупив, что даже и высокий чин не защитит тебя от воли рока. Что было истинной правдой.

**ВИГИЛИЯ ПОСЛЕДНЯЯ,**  
*закрывающая письмо, написанное бывшим младшим помощником  
старшего делопроизводителя Теодором Этцелем  
по просьбе известного актера г-на Девриента*

Любезный и многоуважаемый г-н Девриент!

Приступаю к письму, испытывая сложные чувства глубокой печали и светлой надежды.

С охотой и готовностью я намерен рассказать о том, чему стал свидетелем лично и что навсегда впечаталось в мое сердце, ибо оказалось тесно связано с моим дорогим другом писателем и рисовальщиком Гофманом.

Как вам, наверное, хорошо известно, дорогой г-н Девриент, дни, предшествующие Рождеству, всегда — в глазах нашего общего друга — имели особенную способность быть днями необыкновенными, исполненными одновременно чувства блаженной радости и темного смятения.

Должен заметить, однако, что нынешнее (последнее) Рождество — вернее, его приближение — было ознаменовано для нашего общего друга твердой верой в близкие и совершенно счастливые дни.

Внезапная кончина недруга г-на Гофмана — тайного советника Губица, который, втайне ото всех, лепил улику за уликой, обвиняя сочинителя Гофмана во всех мыслимых и немыслимых грехах! — смерть Губица принесла в жизнь писателя временное успокоение и слабую надежду на справедливое завершение нелепейшего следствия — нелепейшего изо всех когда-либо предпринятых в отношении совершенно невинного человека!

Для вас, г-н Девриент, конечно, не секрет, что обвинения, предъявленные нашему другу, изобиловали не только глупейшими измышлениями, но и дышали столь явной злобой, вынести которую было затруднительно — в осо-

бенности человеку такой искренности и темперамента, какими обладал наш друг.

«Плохой патриот», «скрытый демагог», писатель, «бесстыдно совращающий своими идеями молодежь», и писатель, «внушающий юношеству растлевающий яд мечтаний», — вот только немногие из нелепейших (однако все-без рассматриваемых) обвинений, предъявленных г-ну Гофману.

Прибавьте к этому гнусную попытку переписать сочинения нашего друга на свой — более подходящий! — лад и опыт издания великолепнейших новелл в искаженном виде — и вы, дорогой г-н Девриент, довольно точно представите, в каком состоянии пребывал последнее время г-н Гофман.

Но имелось и еще одно, дополнительное, обстоятельство, многократно увеличивающее груз жизненных испытаний, легших на плечи Гофмана. Я имею в виду безвременную кончину его любимого кота Мурра, ушедшего из жизни всего-навсего на четвертом году!

«Достойнейший юноша» — так называл своего любимца наш друг; и, поверьте, скорбь его была глубока и не могла не тронуть сердца...

Постараюсь, однако, не отвлекаться, ибо самое главное, о чем мне предстоит поведать вам, еще впереди.

Итак, в самый канун Рождества погода, как вы, конечно, помните, была полна смятения и мрака. Лил холодный дождь попеременно с мокрым, залепляющим лицо снегом; дул ветер, наполняя унылым воем опустевшие улицы Берлина; оголенные деревья стояли, точно мрачные и грозные тени — предвестники еще больших испытаний...

В такой день — точнее, день уже перевалил за половину и стремительно катился к вечеру — мы с г-ном Гофманом покинули его квартиру и направились к Венгеру и Лютеру — иначе говоря, к всегдашнему пристанищу г-на Гофмана, где его обыкновенно ждал горячий пунш и исполненные благодарности слушатели диковинных историй — посетители знаменитого заведения.

Правда, на сей раз наш друг явно не был расположен к веселой беседе. «Мрачное Рождество» — так именовал он грядущий праздник, и его тонкое желтоватое в пламени свечей лицо показалось мне печальным как никогда. Я, г-н Девриент, не мог с невольной досадой не думать, что — право же — нам было лучше остаться дома, где г-н Гофман, облаченный в яркий восточный халат, сидел, погрузившись в глубокое кресло, и с улыбкой рассуждал о том, что — вместе с тайным советником Губицем — из его жизни исчезли и прочие зловещие призраки. Разумеется, речь шла о Дрезденском Пауке, известном вам, г-н актер, по рассказам г-на Гофмана.

Однако, оказавшись в людном и веселом Погребке, наш друг внезапно утратил те слабые проблески веселья, которые я имел возможность наблюдать в стенах его уютной квартиры. Вместо этого г-н Гофман все более мрачнел и даже начал позволять себе некоторые небезобидные (с учетом подозрений в неблагонадежности) высказывания.

Так, мрачно поглядывая на подгулявшую публику, г-н Гофман довольно громко объявил:

— Да здравствует искусство бросать тень на самые безобидные вещи! Да здравствуют, — добавил он с горькой усмешкой, — искусники в мундирах!

— Господа, — довольно громко заявил он, обращаясь к разинувшим рот гулякам, — со всей серьезностью заявляю вам, что *думание* как таковое есть опасная операция, а думание опасных людей — опасно вдвойне.

Слушатели громко расхохотались. Скорее всего, они не вслушивались в речи г-на Гофмана, а заранее ждали от него веселой шутки либо занимательного шаржа.

Подзывая хозяина и требуя новую порцию вина, г-н Гофман желчно заметил:

— Человеку следует отвыкнуть от думания. В противном случае, клянусь, это повлечет за собой непредвиденные и самые недобрые последствия. Мне известен один член комиссии по *демагогическим проискам*, который проводил

день и ночь в *думании*, — он, собственно, решал, что такое проклятые *демагогические происки*; и в конце концов с ним приключилась неприятность: он перезабыл все на свете слова, помимо слов «демагогические происки». И вот, к великому удивлению домашних, отныне оперировал только этим словосочетанием. К примеру, в ответ на любезное приглашение супруги проследовать к столу с отменной вежливостью отвечал:

— Демагогические происки.

Это означало: «Премного благодарен, душечка!».

Громкий хохот был ответом на диковинную историю.

И вот в этот самый момент г-н Гофман молча взял меня за руку, привлекая мое внимание к какой-то своей невысказанной идее. Я наклонился к нашему другу через стол и услышал замечание, смысл которого стал для меня ясен не сразу.

— Губиц не умер, — сказал наш друг. — Проклятый Паук позаботился и решил позабавить нас новым фокусом... Он изготовил несметное число Губицев... В каждом кабинете (я знаю, что говорю!), в каждой коллегии либо простом чиновничьем присутствии сидят и скрипят перьями невообразимое число Губицевых двойников!

— Мой друг! — воскликнул Гофман далее, и взор его заблестал. — Вы и сами легко убедитесь в этом. Фридрих Вильгельм Губиц размножился, точно отражения в разбитом зеркале. Он тут и там... Его скрипучий голос, почерк, напоминающий сплетенья паутины, установления, реляции — всё одни и те же, мой друг! Клянусь, это фокус Дрезденского Паука, ловушка...

Тут, г-н Девриент, я с тревогой взгляделся в лицо г-на Гофмана. Нет, ничего безумного не было в его лице — одно лишь отчаяние и мрачная решимость... И еще... Быть может, мне почудилось, но в ту минуту я ясно разглядел в выражении лица нашего друга неожиданный луч светлой надежды.

Внезапно г-н Гофман произнес слова, в особенности поразившие меня своей силой и таившейся в них загадкой. Он сказал:

— Ключик-то один, дорогой Этцель. Один-единственный... А вход таков, куда не протиснется и башмак проклятого Губица... Что же касается Паука... Знаете ли, милый мой, его последнюю идею?

Я видел лихорадочный блеск глаз нашего друга, понимал, что прежняя болезнь сотрясает жаром его хрупкое тело...

Мое сердце сжималось от жалости.

— Дорогой г-н Гофман, — как можно спокойнее сказал я. — Я провожу вас домой и, если вы не слишком устали, расскажу о своих впечатлениях...

Как вы понимаете, я говорил бессвязно и торопливо — лишь бы отвлечь нашего друга от приступа черной меланхолии, которая все более овладевала им.

— Последняя идея Дрезденского Паука, — не слушая меня, громко выговорил Гофман, — заключалась в том, что он не более чем моя тень. А избавиться от тени, — отвратительно хихикая, сообщил мне Дрезденский Паук, — не под силу никому на белом свете (лихорадочно блестя глазами, говорил г-н Гофман).

Потом, оборотившись ко мне, задумчиво добавил:

— Разве что ты расстанешься с собственной жизнью.

Ярость и горечь душили меня. Не зная, какими словами отвлечь друга от темных фантазий, я сказал первое, что пришло мне в голову (и во что я верю):

— Паук лжет, — сказал я угрюмо. — Расставляет очередную ловушку.

— О! — вдруг вскричал г-н Гофман, указывая через мое плечо. — За мной пришли.

Тут, г-н Девриент, я прошу вас быть особенно внимательным, ибо намерен рассказать о самых последних минутах удивительного происшествия, которому стал свидетелем.

В ответ на слова нашего друга я стремительно обернулся. В дверях стояли два человека в полицейских мундирах — оба немолодые служаки, зашедшие, вероятно, ради поддержания порядка в предпраздничный день в шумный Погребок.

Итак, эти двое стояли неподвижно и молча озирали шумное и веселое зрелище.

— Прошу, господа! — засуетился было хозяин кабачка, но наш друг опередил его.

— Убедились?! — крикнул он мне, перекрывая разноголосый гомон. — Паук держит слово! Соглядатаи! Тайный советник Губиц! И еще один тайный советник Губиц! А где же все прочие? Неужели под дождем и снегом?

Те, кто разобрали слова Гофмана, в недоумении переглядывались. Обменялись взглядами и оба полицейских, причем один, расправив усы, двинулся как раз к нашему столику.

Но наш друг оказался проворнее.

— Хозяин! — вскричал он, и хозяин тотчас обернул к г-ну Гофману удивленное лицо.

— Господа! — обращаясь ко всем прочим, продолжал г-н Гофман. — Вы только посмотрите сюда, — громко и как бы насмешливо говорил он, шаг за шагом приближаясь к высокому занавешенному окну.

Тут же все взгляды устремились на Гофмана.

А г-н Гофман преспокойно приподнял тяжелую, как театральная занавес, штору, покрытую золотисто-бордовым рисунком, и исчез на мгновение от глаз публики, укрывшись за блестящей тканью.

Некоторое время все, включая и полицейских, ждали возвращения г-на Гофмана.

В зале установилась довольно напряженная тишина — словно в театре перед появлением главного героя. Однако штора не шевелилась, никак не выдавая присутствия скрывшегося за ней поэта.

Наконец, хозяин — отчего-то на цыпочках — проследовал к занавешенному окну и резким движением разомкнул занавес. Но, как вы уже, наверное, догадались, решительно никого не увидел. Около темного, плотно затворенного окна никого не было.

Медленный, как нарастающая волна, гул охватил помещение Погребка. Ожившие полицейские требовали от хозяина объяснений; а с ними все громче толковали необъяснимое происшествие прочие гости. Однако хозяин только в искреннем недоумении разводил руками.

Я молча встал, расплатился и, бросив последний взгляд на темное окно, покинул Погребок.

### Последнее лирическое отступление

Автор не вправе скрывать от любезного читателя, что на момент написания настоящей повести сочинитель Гофман был жив и отлично себя чувствовал.

Высокое окно, прямо перед которым стоял письменный стол, горело множеством огней, а время от времени по нему пробегали радужные волны, и в комнату проникали хрустальные звуки дивных мелодий.

В доме, где отныне работал писатель (надо ли объяснять, что находился этот дом на одной из чудеснейших улиц Атлантиды?), Гофман позабыл свои неисчислимые тревоги, темное смятение и иные — телесные и духовные — недуги. Под звуки серебряной музыки он преспокойно обмакивал перо в невидимые чернила и неумоимо — невидимыми, но не стираемыми знаками — писал (и пишет по сей день) великолепное сочинение.

Удивительно, однако, вот какое обстоятельство: на узкое, хорошо знакомое нам лицо писателя время от времени набегают слабая тень.

Тогда Гофман резким движением снова и снова обмакивает в сияющую чернильницу серебряное перо и водит, водит этим пером по сверкающему чистому листу! Но — поскольку чернила невидимые — а иных в Атлантиде и нет, ибо счастливым жителям блаженной страны все понятно и без материальных свидетельств, — то и слов на прекрасной бумаге не видать! Сочинение, над которым неутомимо трудится писатель, подходит к концу — но, однако, ни единая буква так и не проступила на блестящем как снег листе драгоценной бумаги.

Вот в такие-то минуты странная тень ложится на лицо сочинителя. Он вдруг испытывает приступ острой и загадочной тоски по темным улицам, полным неверных теней; по желтому глазу фонаря, бесстыдно освещающему дорожную грязь и слякоть; даже — хотя в это уж никак невозможно поверить! — по своим отвратительным преследователям, от чьего вездесущего ока он укрылся в блаженной стране...

Сладостные звуки, впрочем, льются в такие минуты особенно настойчиво, и Гофман быстро утешается.

После работы над сочинением его ждет еще немало важных дел: гости с Сириуса — пламенные лучи — давно собирались навестить поэта; а вслед за ними — посланцы древнего царства, чье отражение разглядел поэт в глубоком уединенном озере среди скал, — явятся на встречу.. Сверкающие, как глаза, бриллианты — подарок благосклонной феи — лежат на краю письменного стола и глупейшим образом напоминают булыжник мостовой, под которым укрылся некогда презренный паук... Но — довольно, довольно! Ни к чему оплакивать то, что ушло. Тем более ничего никуда не уходит; и повесть, в которой автор предпринял попытку разглядеть контур невидимой блаженной страны, обретает свой благополучный и неизбежный

**КОНЕЦ.**